

АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН
ЗАПИСКИ ЭКСТРЕМИСТА
АЛЕКСАНДР КАБАКОВ
НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН

ЗАПИСКИ ЭКСТРЕМИСТА

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1990

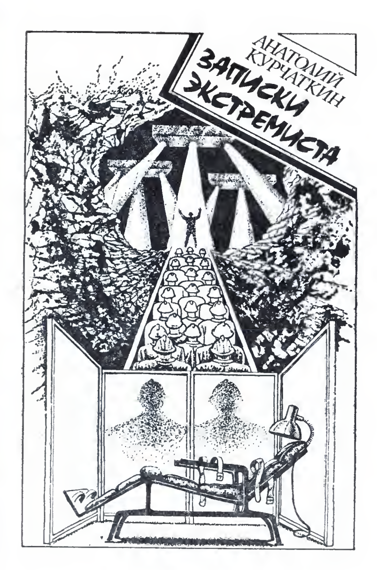
ББК 84Р7
К 93

СОДЕРЖАНИЕ

Анатолий Курчаткин. ЗАПИСКИ ЭКСТРЕМИСТА 3
Александр Кабаков. НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ 109

К $\frac{4702010201-292}{078(02)-90}$ КБ-019-048-90

ISBN 5-235-01535-5


АНАТОЛИЙ КУРЧАТКИН
ЗАПИСКИ ЭКСТРЕМИСТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Мне было тогда немного за двадцать, я только что отслужил в армии.

Кто знает это чувство свободы, что пьянит и кружит голову после казарменного затворничества, тот поймет меня. Человеку, обуянному этим чувством, под силу своротить горы и повернуть реки, было бы лишь кому поставить перед ним подобную цель.

— Слышал? — сказал отец, бросая мне обмявшуюся в его руках, всю в заломах и перегибах «Вечерку», нашу вечернюю городскую газету, — из всех газет в ту пору я заглядывал в нее одну: там печатали всякие затейливые статеечки «на тему морали», рекламу фильмов на предстоящую неделю с пересказом их содержания и заметки «Из зала суда». — Метро у нас строить будут.

— Ну да?! — довольно экспрессивно, должно быть, воскликнул я, с горячностью гончей зарываясь взглядом в мешанину теснящих друг друга заголовков. — Где напечатано?

— Да вон, «Метро в нашем городе», на третьей странице, — сказал отец.

Я увидел. «Метро в нашем городе» стояло жирно над небольшой заметочкой, и там сообщалось, что город наш давно уже задыхается без современного вида транспорта, что терпеть подобное положение дальше нельзя и принято, наконец, решение о начале изыскательских работ, о подготовке проекта, и возможно, лет через пять-шесть можно будет приступить и к строительству.

— Ну-у, через пять-шесть, — разочарованно протянул я, отбрасывая газету.

— А что же ты думал. Проект сделать, в рабочих чертежах исполнить да ассигнования получить... да если

через шесть лет — так это хорошо, — сказал отец.

— А что, и больше может пройти?

— Спокойно, — сказал отец. — Не знаю я наши сроки, что ли. Десять лет — хочешь? А то и пятнадцать.

Десять? Пятнадцать? Замогильным холодом, зияющим космическим мраком пахнуло на меня от этих цифр. Мне было двадцать с небольшим, и «пятнадцать» — это равнялось едва не всей моей жизни, а она была такой большой, долгой, так далеко отстояли в ней «я», начавший удерживать себя в памяти, и «я» нынешний... Ждать метро еще почти столько же, сколько я уже прожил. И не самого метро, а только начала строительства!

Нет, я не мог ждать.

Может быть, я и не принял бы так близко к сердцу газетное известие, если б не один случай.

По утрам, в час пик на остановках трамваев, троллейбусов, автобусов в нашем городе творилось светопреставление. Там натекали обычно целые людские озера; трамваи, троллейбусы, автобусы подходили один за другим, целыми косяками и вычерпать эти озера никак не могли. Двери у них не закрывались, несмотря на громыхающую ругань водителей в динамиках — потому что на каждой из подножек висело по целой людской грозди; и по целой грозди висело на горбатом троллейбусном загривке с лестницей на крышу, и на трамвайной «колбасе»; и даже на гладком автобусном задке, где вроде совершенно не за что уцепиться, даже там ухитрялись повиснуть два-три пэтэушника.

На трамвайной «колбасе» и троллейбусном загривке ездил неоднократно при нужде и я сам. Ездил себе и ездил, эко дело — на «колбасе», подумаешь, и я думать не думал о транспортных бедах нашего города. И так вот я ехал однажды на «колбасе» — удобно утвердясь на ней обеими ногами, — а рядом со мной, с краю, ехал пожилой мужчина. Двум его ногам места на «колбасе» не было, и он стоял на ней лишь одной, а другую

пристроил на каком-то еле заметном выступе трамвайного тела. Мы еще с ним говорили о чем-то, коротая путь, он отнял руку от железного прута, за который держался, чтобы почесать нос, и тут трамвай, как это с ними бывает на поворотах, резко и сильно болтануло. Нога мужчины сорвалась с еле заметного выступа, пальцы второй руки, не очень, видно, крепко сжимавшие прут, разжало, и его, развернув в воздухе, сбросило на соседнюю колею, и страшно заверещавший тормозами встречный трамвай подмял его под себя. А моя рука запомнила судорожное гребущее движение, каким инстинктивно, помимо моей воли, хотела ухватить мужчину, не дать ему упасть, но в горсть ей попал только голый воздух.

— Чего это тебе десять, пятнадцать лет — долго? — спросил отец. — Доживешь, чего тебе это долго. Еще и не старым будешь. Это вот мы с матерью... мы едва ли дотянем.

Отец у меня был человеком весьма несентиментальным, скорее грубоватым даже, что шло, должно быть, от его профессии хирурга, а в его обращении со мной всегда сквозило словно бы некое пренебрежение сильного к слабому.

— При чем здесь это — доживу, не доживу? Разве только в том дело, чтобы самому прокатиться? — сказал я.

— Да? А в чем еще? — спросил отец.

Я не стал отвечать ему. Меня покоробила его интонация. Будто он делал, делал какую-то операцию и вдруг обнаружил что-нибудь вроде второй селезенки или третьей почки: «А это откуда?!»

Но в голове у меня в тот момент уже возник план. Вернее, не возник, а просто я услышал внутри себя словно бы некий хлопок, словно бы неслышный, но явственный взрыв, — и сквозь волнующееся дымное облачко его просквозили туманно очертания этого самого плана. Минул день, другой, облачко мало-помалу рассеивалось, и

детали того, что оно окутывало, проступили отчетливо и резко.

Я тогда учился в университете, на философском, восстановившись в студентах после своего армейского отсутствия. Но, видимо, каждому овощу свое время, вот и мне приспела пора учить диалектику не только по Гегелю. А если б не так, разве бы отдалась во мне эта новость о метро таким яростным желанием действия, разве бы это желание отлилось в такую конкретную, твердую форму?

Через неделю, уйдя с лекций после второй пары, чтобы был самый разгар дня, полуденная пора, я стоял у парадного подъезда массивного серого здания, за высокими дубовыми дверями которого с подножием из широкой гранитной лестницы скрывалось святилище городской власти. На груди и спине у меня, скрепленные переброшенными через плечи веревками, висело по транспаранту. На одном из них я написал: «Хватит трамвайных жертв!» «Метро нужно городу немедленно!» — было написано на другом.

Вместе со мной на демонстрацию к Дому власти вышло еще пять человек. Оказывается, не одного меня это сообщение о метро тряхануло, как током, оказывается, у многих уже г о р е л о, и найти единомышленников не составило большого труда. Двое из этих пятерых были моими товарищами по курсу, так же, кстати, как я, отслужившими недавно срочную в армии; они умудрились раздобыть где-то красной материи, раскроили ее, укрепили на древках и стояли сейчас на нижней ступени лестницы, высоко подняв над головой полотнище: «Оттягивать строительство метро — преступление!»

У стража порядка, вынырнувшего из двери и сбежавшего к нам по лестнице, был совершенно обескураженный вид.

— Чеканулись, ребята? — спросил он. — Я сейчас сообщу, вас заметут, жизни вам больше не будет! Уносите отсюда ноги, пока добром говорю.

Никто из нас не отозвался на его слова. Мы заранее решили поступить именно так. Что попусту тратить силы? Разговаривать мы собирались только с представителями властей.

— Ребята, — сказал страж, — второй и последний раз говорю: смывайтесь добром! Не будет жизни!

Он не особо повысил голос, так, не очень громко сказал, но в толпе, что уже собралась в отдалении на тротуаре, услышали.

— А что ты их стращаешь! — закричали оттуда. — Они что, окна бьют? Стоят себе и стоят! А без метро и так никакой жизни нет, что, не так, что ли?!

— Я предупредил, — сказал страж и пошел быстрым шагом по лестнице вверх.

Он скрылся за высокой тяжелой дверью, и из толпы нам стали советовать:

— Сматывайтесь, ребята! Постояли, и хватит! Вам что, ребята, не жаль себя, что ли?!

Жаль, жаль себя было — ужас как. Страшно было — не описать, потому что будто в пропасть ступил, знал, что в пропасть, — и ступил, и вот завис на мгновение в воздухе — и сейчас грянешь вниз... а и восторг был в этом диком страхе: и гряну!

Из шестерых нас все же осталось четверо. Двое не одолели своего страха, будто переминаясь с ноги на ногу, пряча друг от друга глаза, они отдалились от нас на шаг, другой, третий... и смешались с толпой.

А нас четверых через некоторое время отвезли в отделение, составили протокол о нарушении общественного порядка, и ночь мы провели в камере.

Глухое, смертельное отчаяние навалилось на нас, когда мы оказались в ее каменном мешке. Все наши силы ушли на то, чтобы отстоять свое у Дома власти, перемочь свой страх, не броситься в толпу следом за теми двумя, и на борьбу с отчаянием ничего не осталось, никаких сил. Отсюда, из замкнутого тесного пространства с узким отверстием в мир, забранным решеткой, с

пронзительной, вынимающей душу ясностью увиделось то, о чем до нынешнего момента никто из нас не догадывался: жизнь разломилась для нас на ту, что была до, и ту, что настанет отныне. И эта новая жизнь, которой отныне нам предстояло жить, была сплошным мраком, черной неизвестностью, бездонным провалом в кромешную темь...

2

Утром нас выпустили, взяв подписку о невыезде.

Отец, когда я вошел в дом, сидел на табуретке в прихожей. Было похоже, он просидел здесь, ожидая меня, все это время — с той самой поры, как нас привели в отделение и, проверяя сообщенные мною сведения о себе, позвонили по телефону домой. Видимо, он не пошел и в больницу нынче — хотел дождаться меня. Правая его рука, большая, белая, ухоженная рука хирурга, свисала с колена с каким-то таким видом, будто собиралась сейчас же вкатить мне оплеуху.

Наверное, он и хотел вкатить мне оплеуху. Но удержался.

А вот от крика не удержался. Нет.

— Свистун! — кричал он мне. — Тарахтелка пустая! Да мало ли где кого как задавит! Ко мне привозят: на линолеуме в квартире у себя поскользнулся — и перелом основания черепа! Против производства линолеума теперь выступишь! А еще один в патрон палец сунул, контакт отжимал, его током трахнуло, еле отходили, — против электричества станешь бороться?!

— Не путай хрен с редькой, — сказал я.

— А их и путать нечего! — немедленно ответил он мне. — Одно другого не слаще! Дело свое нужно делать! Дело! Свое! Ясно? И станет каждый делать свое дело, вот и будет все толком. И метро вовремя, и люди

живы! А вот такие, как ты, лезут не в свое дело — и выходит бардак! Бардак, запомни, заруби себе на носу!..

Я ушел из дома. Не знаю, как бы поступил на моем месте другой. Я ушел. После такого я не мог оставаться.

Из университета я не уходил. Оттуда меня вышибли. Как и двух моих товарищей-сокурсников. А четвертый, приятель одного из моих сокурсников, работавший гдето инженером, угодил под срочно разразившееся сокращение штатов.

Урок нам был преподан что надо. Никому я не пожелаю такого урока.

Но произошло необыкновенное.

На что никто из нас не рассчитывал.

О чем мы и думать не думали, потому что, выходя на ту демонстрацию, даже не смели заглядывать вперед: а что будет после? Дальше самой демонстрации мы не загадывали.

Но она, оказывается, явилась тем самым крошечным, малым кристалликом, что, попав в перенасыщенный раствор, вызывает бурную и уже неостановимую реакцию.

Спустя неделю после нашей демонстрации у Дома власти состоялась новая. Ее пресекли точно так же, как и нашу. Но тогда, спустя еще недолгое время, по всему городу появились листовки. Их находили на подоконниках в подъездах домов, на садовых скамейках, в укромных уголках магазинных прилавков. В листовках повторялись все наши лозунги и предлагалось, как там было написано, всем честным гражданам города в ближайшее воскресенье выйти на улицы и прошествовать к Дому власти на митинг, чтобы там потребовать от властей ускорения строительства метро. И еще поползли, переходя из уст в уста, слухи, будто бы все изыскательские работы давным-давно проведены и давно су-

ществует даже рабочий проект метро, однако по непонятной причине он положен под сукно и лежит там уже который год, а недавнее сообщение в газете — абсолютно ложное сообщение, и цель его скорее всего — дезориентировать тех, кто о том проекте знал, кто, судя по всему, и вышел на ту, первую демонстрацию...

Слухи эти нас четверых немало повеселили. «Не совсем еще дезориентировался? Понимаешь, что к чему, откуда дети берутся?» — так примерно шутили мы теперь друг с другом. Мы теперь, все четверо, были постоянно вместе, сняв для житья пустующий дом в пригороде: случившееся спаяло нас, как вольтовой дугой.

«Вольтово братство» — так мы себя и называли. Вообще после той ночи в камере у нас как-то сразу пошли в ход прозвища, и я стал Философом, мои товарищи по курсу, милостиво уступившие мне право зваться им, как мог бы каждый из них, сделались Магистром и Деканом, а четвертый, как единственный среди нас с техническим образованием, он, разумеется, получил прозвище Инженера.

В воскресенье, еще задолго до означенного в листовках времени, мы отправились к Дому власти. И только тут, оказавшись на улицах, прилегающих к площади, на которой стоял массивный серый дом с широкой гранитной лестницей парадного подъезда, мы поняли, какую реакцию запустили. Улицы были полны народа. И все шли только в одну сторону, к площади.

А сама площадь была уже вся запружена толпой, и свободное пространство осталось лишь около массивного серого дома, — потому что вокруг него, на расстоянии метров пятнадцати, стояла цепь солдат. Солдаты были молодые ребята, как сам я год-два назад, и на лицах у них горело выражение опасливого, затаенного любопытства.

Найти бы их, кто это все организовал, переговаривались мы друг с другом. Вместе бы с ними...

Те, кто это организовал, обнаружились полчаса спустя.

Вдруг в одном из концов площади над колышущейся толпой возвысилась человеческая фигура, рассекла воздух митинговым жестом руки, выкрикнула что-то — и вся площадь разом подалась туда, в короткий миг уплотнившись в жаркий, тугой человеческий ком.

Кто не знает этого восхитительного, великолепного единения с тысячной толпой, полного, до последнего атома твоего тела слияния с многоруким, многоглавым ее телом, когда ты сам по себе, как отдельная личность, становишься ничем, перестаешь существовать, сделавшись собственно толпой, ее силой, ее желаниями, ее волей... кому не довелось изведать этого чувства, мне очень жаль того.

Коротко стриженные, гладко выбритые молодые люди с военной выправкой, одетые в гражданское, рвались через толпу к человеку, поднявшемуся на какое-то возвышение, но толпа не пропускала их. Они завязли в толпе, как в топком болоте; били локтями и пинали ногами, но тумаки посыпались и на них — и они увязли.

И тогда кто-то из них выстрелил. Раз. И другой.

Должно быть, он выстрелил в воздух, но когда стреляют так рядом, так близко, то кажется, будто стреляли в тебя. И если не попали сейчас, то следующим выстрелом попадут наверняка.

Дикий, страшный вопль разодрал воздух над площадью. Все разом зашевелились, заворочались, толпа пришла в движение и стала разваливаться, а еще через мгновение все вокруг бежали. И только те, коротко стриженные и одетые в гражданское, бежали к центру толпы, а не от нее, стремясь, должно быть, взять того, стоявшего на возвышении.

Велика сила толпы: захваченный ее инстинктом, бежал и я, растеряв по дороге своих товарищей.

Потом я шел в одиночестве по улице, и меня мял,

скручивал мне душу жгутом нестерпимый стыд. Не с площади я должен был бежать, а туда же, куда и эти коротко стриженные, быть вместе с теми, к кому они рвались, присоединиться к ним, разделить их долю...

Кто-то тронул меня сзади за плечо и назвал по имени.

Вздрогнув, я повернулся.

Передо мной стоял крепкий рослый парень, мой сверстник, и я подумал, что если это один из тех, одетых в гражданское, мне с ним не справиться и не убежать от него.

Однако я отозвался на свое имя. Кем бы он ни был, чего уж тут было таиться, раз он знал, кто я.

— У вас взгляд характерный, — сказал он. — С таким прищуром... Я вас по взгляду узнал. Мы вас ищем все это время, никак найти не можем.

Я выжидающе смотрел на него, не отвечая. На этих коротко стриженных он не был похож. Но кто «мы», почему искали и как он мог узнать меня по взгляду, если мы с ним не знакомы и я вижу его впервые?

— Сегодняшнее — это наша работа, — сказал он, усмехаясь и кивая в сторону площади. — А вы студент, в первой демонстрации участвовали, мы ваши фотографии даже достали, а вас самих — нигде, ни дома, ни на учебе.

— А кто еще был со мной? — недоверчиво спросил я.

Он назвал мне имена всех остальных.

— Это откуда ж у вас такие сведения?

Теперь он засмеялся.

— Думаете, это сложно? Нужно только заняться!..

3

Грузноголового пожилого человека с яркими серыми глазами в зарослях его буйной, вольно растущей седой бороды все называли Волхвом. И для меня

он тоже на всю жизнь остался Волхвом, хотя, конечно, никогда я к нему так не обращался.

Вот говорят: поколение романтиков, поколение циников, поколение прагматиков, — я в это не верю. Поколение не бывает монолитно-единым. Просто из-за условий времени на виду бывает какой-то один человеческий тип, а изменится время, и глядишь, поколение делается другим. И никакого тут чуда. Это всплыл на поверхность совсем иной тип. И только. Мой отец и Волхв были людьми одного поколения, но ничего общего между ними не было. Ничего!

Крохотная его бедная комнатушка вмещала в свой коробок диван, несколько стульев, старый овальный стол, служивший ему и для еды и для работы, подпотолочные стеллажи с книгами вдоль одной из стен — и это все.

Будто всего лишь вчера случилась, вижу я ту, первую встречу с ним нашего Вольтова братства.

Он многое тогда объяснил нам. Мы были настоящими слепыми щенками до его рассказа.

Оказывается, наше метро, еще не начавши строиться, уже имело целую историю!

— Сообщение об изыскательских работах — вот, — положил Волхв на стол перед нам изжелтившуюся, ломкую газетную вырезку. — Единственное сообщение в строительной многотиражке. Какой у нее тираж? Неудивительно, что никто не знает. А вот и свидетельство об имеющемся проекте, — подал он нам лист фотобумаги, и это оказалось фотокопией титульного листа документа, который имел название: «Смета на строительно-монтажные работы по сооружению метрополитена в городе...», и в числе прочих — ясно и четко выведенную подпись нынешнего главы города. — Не было бы проекта, не было бы, разумеется, и сметы, — сказал Волхв.— Но есть и другие свидетельства. Вот такое, между прочим, — он достал из папки захрустевший под его руками лист белейшей лощеной бумаги, развернул его —

это был ответ городского отделения Стройбанка на обращение гражданина такого-то, то есть самого Волхва, — в котором Стройбанк сообщал, что финансирование работ по строительству метрополитена прекращено в связи со специальным постановлением городских властей.

Он имел их целую кипу, таких вот официальных бумаг. И в большинстве их сообщалось одно и то же: да, метро городу, безусловно, необходимо, но вопрос о нем находится пока на стадии обсуждения, — и так уже чуть ли не десять лет все минувшие годы. Они были похожи друг на друга, как дождевые капли, все эти ответы. Отправленные из разных мест, истинное свое рождение они все получали в каком-то одном месте.

И наверное, если бы не сумасшедшее упорство, с которым Волхв продолжал стучаться во все ответственные двери, напоминая о давнем сообщении не ведомой никому многотиражной газеты, так бы вся эта история со строительством метро и легла на дно Леты каменным грузом, исчезла навсегда под темными водами, будто ее и не было. Но, видимо, его сумасшедшее упорство и впрямь показалось кому-то маниакальным, и после очередной его беседы в высоком кабинете было решено покончить с ним, наконец, раз и навсегда, опубликовав ту самую десятилетней давности информацию о метро из многотиражки в газете большой. Должно быть, человеку из высокого кабинета помни́лось это очень удачным и полным иронии ходом: жаждете широкой информации? Вот она! А то, что она лишь повторяет ту, прежнюю, — что ж такого! Вы хотели — и получили! Чем владеем, то и делаем!

Но это-то Волхву и было нужно. Эффект, которого он ждал от публикации подобного сообщения, оказался именно таким, на какой он и надеялся. Единственно, чего он не знал, какова она будет, реальная форма действий. И уж тем более не знал, что за люди предпримут их.

— Но почему все-таки, — спросил я, — было принято постановление о прекращении работ?

В ярких серых глазах Волхва загорелся черный огонь.

— Я очень долго задавался этим вопросом, молодой человек. Пытался понять: может быть, какие-нибудь ошибки в проекте, нехватка средств... Но об этом никто никогда, ни в одном ответе даже не помянул. Хотя, казалось бы, чего проще: вот причина, и вали на нее. А потом, наконец, до меня дошло: оно им просто не нужно, метро. Вот он, ответ: просто не нужно! Они ведь не ездят трамваем. Ни трамваем, ни троллейбусом, ни автобусом. Они персоналками ездят. На мягких сиденьях. Так зачем им метро? Такое строительство, такие заботы, такой хомут на шею... Зачем?!

— Логично, — сказал Магистр. — И убедительно. Я лично другого объяснения тоже не вижу.

Черный огонь в ярких глазах Волхва обжигал почти физическим жаром.

— Мы должны взять ситуацию в свои руки, — медленно, внушающе, по очереди оглядев нас всех, проговорил он. — Если мы не сделаем этого, не видеть городу никакого метро. Ни через пять лет, ни через пятьдесят. Наша задача сейчас — раскачать народ. А люди к тому готовы. Каждый приходит в этот мир, чтобы совершить в нем что-то. Кому выпадает маленькое дело, кому большое. Нам выпало большое. Возможно, оно потребует от нас всей нашей жизни. И что ж?! Если это действительно Дело, оно стоит того, чтобы положить на него жизнь.

Такими они были, интонации его голоса, что, когда он произнес «Дело», не возникло никакой необходимости добавить сакраментальное: «С большой буквы». Он сказал: «Если это действительно Дело», — и слово это так и возвысилось над другими.

— Сейчас самое важное, чтоб они признали: существует проект! — с яростью выкрикнул Рослый — тот

самый парень, что опознал меня на улице в день митинга. Крепкий и рослый, отметило тогда мое сознание, лихорадочно решая, как быть, как вести себя, если он из тех, коротко стриженных, и второе из этих двух слов, которыми я подумал о будущем своем самом ближайшем друге, срослось с ним навсегда. — Сумеем вынудить их признаться — заставим их в конце концов и начать строительство.

— Ничего подобного, — сказал Волхв. — Раз они не хотят строить, они будут кормить нас одними обещаниями... и ничего, кроме обещаний! Вынудить их признаться — что да, есть проект, — это сейчас, конечно, важнее всего. Но потом... получить его — и начать строить самим, без всякого их благословения. Разжечь в народе энтузиазм, увлечь за собой! Стать землекопами, проходчиками, бурильщиками... кем там еще? Люди пойдут за нами, уверен!

Увлечь за собой! Стать землекопами, проходчиками, бурильщиками... Как он умел говорить! Какой силой, какой мощью веяло от его слов!

— Но как это сделать, чтобы они признались в существовании проекта? — возбужденно спросил Декан. Его лежащие на столе руки, казалось, дрожали от еле сдерживаемого желания действия.

— Заставить! — сжав кулак, выбросил его перед собой Волхв. И снова по очереди оглядел нас всех. — Другого способа нет. Только заставить!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Утро занималось туманное, сизое — холодное, мозглое утро осеннего дня, — но ударило солнце, и туман засквозил охрой, и отжившая свой срок, умер-

шая листва деревьев радостно засветилась желтым, влажно заиграла трепещущей своей ячеей, уже основательно прореженной ночными ветрами.

Я стоял на краю котлована, распахнутое земное нутро щерилось вблизи рыжими прутьями арматуры, лохматыми досками опалубки, уже отлитыми бетонными ребрами стенок и перемычек, а за пределами пятнадцати-двадцати метров все утопало в этом огненносизом тумане, будто котлован был беспределен, уходил в бесконечность; и не было видно его дна. Там, в глубине, куда не доставали солнечные лучи, клубилась одна сырая холодная хмарь, и казалось, что земное нутро и в самом деле вспорото до самого чрева.

Метро строилось! Несмотря ни на что. Метро выгрызало себе в земле необходимые ему пространства, оно уже ушло внутрь ее со дна котлована наклонной узкой шахтой до половины проектной глубины! Три полных года отделяли нас от той поры, когда началась битва за него. Глядя со стороны, может быть, мы сделали совсем немного. Но на самом-то деле фантастически много было сделано. Оно строилось! Строилось! Несмотря на то, что власти по-прежнему не хотели того, а уж как они не хотели тогда! Но когда вулкан разбужен, сколько ни заливай ему жерло глиной, лаву не удержишь...

Меня окликнули.

Это был Декан.

— Вот ты где, — сказал он, подходя. — Проверяешь с утра пораньше, на месте ли котлован?

Это у нас была такая подначивающая манера разговора. С той еще поры, когда мы волею обстоятельств слепились в наше Вольтово братство.

— Любуюсь, сэр, — отозвался я в тон ему. — Красавец какой — гляжу не нагляжусь.

— Сходил бы ты лучше, брат, на охоту, подстрелил пожевать чего-нибудь, — потянулся, зевнул Декан. Вчера, как и обычно, легли мы поздно, ему наших обычных

шести часов для сна не хватало, и с утра он ходил вялый. — Батя там к тебе приехал. На машине на своей, на дороге там у крайнего вагончика ждет.

— А ты чаечек поставь, если еще не поставлен, — обрадованно хлопнул я его по плечу. — Горяченький сейчас с домашней печенушкой попьем!

Отец ходил по обочине дороги около машины туда-сюда и, увидев меня, кинулся было ко мне в расчавканную грязь, но он был в ботинках и, дернувшись, остановился.

— Привет! — замахал он мне рукой.

Он очень изменился в своем поведении со мной. Первые признаки этого изменения появились тогда, когда наши имена стали известны всему городу, каждому человеку, разве что исключая младенцев, а уж потом, когда мы принудили власти считаться с нами, он сделался со мной вообще другим. Разговаривая со мной, он теперь постоянно жестикулировал, и движения его рук при этом были как-то неприятно суетливы и дерганны. Будто он чувствовал себя со мной неловко и старался скрыть свою неловкость от самого себя этой жестикуляцией.

Как и предполагал Декан, отец привез мне домашней стряпни. Мать испекла пирог с мясом, пирог с луком, пирог с яблоками и еще всякие сладкие булочки и печенье.

— Что-то совсем уж давно не появлялся, — сказал он, впрочем, не особо укоряющим тоном. — В самом деле, что ли, так некогда?

— Отец, спать времени нет, — сказал я, вспоминая зевающего Декана.

Мы все — и Волхв, и Рослый, и наше Вольтово братство, и остальные два десятка человек, что составили в свою пору ядро дружины, бившейся за метро, — мы все жили прямо здесь, на строительной площадке, не покидая ее практически уже несколько месяцев. Никто от нас не требовал этого, но это было делом прин-

ципа. Власти лишь дали согласие на строительство, но не более. Ни куба бетона не выделялось для стройки, ни грамма металла, ни единого метра леса. Все существовало на голом энтузиазме. Школьники собирали металлолом, металлурги ухитрялись дать лишнюю плавку, ремонтники в сверхурочную смену ремонтировали разливочные ковши — никто, естественно, не получал за свой труд ни копейки, — и так у нас появлялся металл для арматуры и тюбингов, чтобы крепить туннельные своды. И так у нас появлялся бетон, и так появлялся лес для опалубки; и катушки с кабелем, что ждали своего часа на краю котлована, появились здесь таким же образом. Нанимать рабочих у стройки не было права, да и нечем было бы платить им, и копать котлован, пробивать штольню, бетонировать, плотничать, таскать носилки, катать тачки с землей люди приходили в счет своих выходных, в счет отгулов, отпусков... А жертвуя сами, они должны были видеть, что кто-то жертвует больше них. И кто, как не мы, обязаны были сделать это. Для нас не могло остаться в жизни за пределами стройки ничего. Ничего абсолютно. Все в стройке, вся жизнь. Метро придется строить долго, многие годы, энтузиазму, чтобы не выдохнуться, необходимо топливо, необходим постоянный пример еще большего энтузиазма, — и тогда люди все сдюжат, все вынесут на своих плечах.

— В городе только и разговоров, что о вашем метро, — сказал отец.

— Ну, это понятно.

— За границей о вас пишут. Мне вот один наш врач, зная, что ты мой сын, газету тут на днях передал. Хочешь глянуть?

Он достал из кармана газету и развернул ее на нужной странице. В заголовке, крупно набранном чужими буквами, я сумел прочитать только одно слово: «метрополитен».

— Переведи, — попросил я.

Сам я так и не знал никакого языка, кроме родного. Некогда было выучить. Не успел.

Отец перевел мне заметку, и я спрятал газету за пазуху, под ватник. Товарищам моим будет приятно подержать ее в руках, найти свои фамилии в тексте. А Волхв, кстати, и переведет для них заметку заново.

— Ну, давай, сын, — потянулся обняться со мной иа прощание отец. Обнял и, похлопывая по спнне, сказал: — Вы молодцы, молодцы... Нужное дело делаете, вам это зачтется.

Чайник, когда я прншел в наш вагончик, уже вскипел, и у стола было полно. На пироги прибежали все до одного, кто жил тут, на стройке. И от того, что я принес, в мгновение ока ие осталось н крошки. Все имевшиеся у нас деньги давно кончилнсь, закупать продукты нам было не на что, мы перебнвались тем, что приносили с собой для общего котла, приходя на стройку, все прочие люди, н оттого были, в общем-то, постоянно полуголодны.

Потом Волхв перевел вслух заметку из принесенной мною газеты, мы немного пообсуждали ее, и подошло время идтн в котлован. Тумаи иачал рассеиваться, воздух опрозрачнел, н нз окиа вагоичика было видно, что на площадке на краю котлована уже толпилось человек сорок, прибывших сегодия иа работу нз города.

2

Дием, иезадолго перед обеденной порой, когда я был в шахте, ставил, отбивая руки кувалдой, крепь в только что отвоеваином у земли куске туннеля, меня вызвали наверх.

На том же самом месте, где утром стояла подбористая машина отца, чериели сейчас три большие осадистые зверюги, в каких ездили руководители города.

Около вагончиков, зорко простреливая глазами свободное пространство вокруг них, бродило несколько молодых людей с военной выправкой.

Воды ни в одном из рукомойников не было. Ее всю израсходовали утром, а новую еще не подвезли, и мне с Магистром и Рослым, тоже работавшими под землей, побренчав сосками, пришлось пойти на встречу в том виде, в каком мы поднялись, — с грязными руками и перемазанными лицами.

Делегацию Дома власти возглавлял сам глава города. Вместе с ним приехало еще четверо.

Ответно, с нашей стороны, Волхв выставил тоже пятерых.

— Что? Все? — недовольно спросил глава города, когда мы все вошли в вагончик.

Остальные руководители потянулись к нам было здороваться, но подать наши грязные руки мы им не могли и ответили лишь демонстрацией своих лапищ.

Мы сели к столу, и глава города, пристукнув крупными толстыми пальцами, сказал все тем же недовольным голосом:

— Давайте сразу к сути. У нас еще важных дел полно. Доложи, — кивнул он одному из приехавших с ним.

Руководители города прибыли к нам с ультиматумом. Отныне, заявили они, пятьдесят процентов того, что производится из сэкономленного, выгаданного, будет у нас изыматься. Металл, цемент, лес...

— Это будет по справедливости, — не давая никому из нас возразить, сказал глава города, едва тот, что предъявлял нам ультиматум, умолк. — Оказывается, у нашей промышленности громадные резервы. Вы их вскрыли. За это вам спасибо. Но откуда у вас сырье, за исключением металлолома? На чьем оборудовании тот же цемент производится? То-то и оно! Пятьдесят процентов — это еще по-божески.

Рослый не выдержал и ворвался в речь главы города, перекрыв его голос своим:

— Даете вы, а! Да совесть у вас есть? Мало того, что палец о палец для метро не ударили, на чужой хребтине едете, так вы тут еще и урвать хотите! Не сеяли, не жали, а ложку приготовили!

— Ну, это вы позвольте! Это вы позвольте! — все повторял, пока Рослый говорил, пытаясь остановить его, один из приехавших с главой города. И когда Рослый умолк, прокричал: — Это как это пальцем о палец не ударили? Это вы позвольте! А откуда вы электроэнергию берете? Из атмосферы? Ничего подобного, из городской сети!

Магистр, невозмутимо-спокойный обычно, словно бы даже замкнуто-высокомерный, сидел с иронической, веселой усмешкой на губах.

— То, что вы собираетесь сделать, — сказал он своим внятным, ясным голосом, — называется на вашем же кабинетном языке «перекрыть кислород». Попросту удушить. Забава, достойная палача. Не мытьем, решили, так катаньем?

— Слушайте! — обращаясь к главе города, преданно ища глазами его глаза, возмущенно воскликнул тот, что предъявлял ультиматум. — Слушайте, ведь они нас оскорбляют! Забава палача, видите ли!

Глава дал ему заглянуть себе в глаза и перевел взгляд на Магистра.

— А хоть и катаньем! — сказал он. — Именно катаньем, очень верно. Потому что никакое метро нашему городу не нужно. Во всяком случае, сейчас и в обозримом будущем. Хотите строить — ну, стройте! А уж каким образом будете строить — полностью ваше дело. Наше — наше, а ваше — ваше. Пятьдесят процентов — это по-божески.

— Если вы так считаете, что метро не нужно, зачем же давали тогда сообщение в газете? — спросил я.

— Вот и плохо, что дали, — бесстрастно отозвался глава города.

— Но почему-то же дали? — снова спросил я.

— Почему-то дали, — бесстрастным эхом откликнулся глава города.

— Так почему?

— Давайте без ненужных дискуссий, — больше не удостаивая меня ответом, сказал глава города. — Вскрылись громадные производственные резервы, и мы не можем, чтобы они пропадали впустую. Решение наше окончательное и обсуждению не подлежит.

Волхв, сидевший всю эту пору молча, рассмеялся.

— Ай-я-яй! — сказал он. — Эк вы блефуете: на руках шестерка, а пытаетесь сдать за туза. Никакое ваше решение не окончательное, вы вынуждены считаться с нами, оттого и приехали. Оттого и таким вот обширным составом, — повел он руками вдоль их ряда напротив нас. — Тактика запугивания? Странно. Вы же знаете, что вам это не удастся. Впрочем, еще и прискорбно. Не хочется вам строить метро! Никак не хочется! Ладно, устранились. Нашлись люди, которые взвалили на себя это дело. Так отойдите в сторону, палки-то в колеса зачем же вставлять?

Волхв умолк, и глава города, не помешавший его речи ни единым словом, ни единым движением, сказал, морщась, будто от кислого:

— Дебаты все снова навязываете. Не будет вам никаких дебатов. Не согласитесь на отчисления, мы найдем способы вас заставить.

— Ту же электроэнергию — возьмем и отключим, — вставился один из приехавших с ним, до этого момента не произнесший ни звука.

— Да, ту же электроэнергию, — подтвердил глава города. — Много способов, о чем говорить.

Рослый изо всей силы ударил кулаком по столу:

— Монстры! Вы ж монстры! Сосете кровь, и все вам мало: вот бы еще одну жилку перекусить!

— Ну, это вы позвольте — закричал тот, что уже говорил эту фразу. — Это вы позвольте!

— Да ведь они же нас оскорбляют! — воскликнул и тот, что уже восклицал так, и снова с преданностью ища глаза главы города.

— Они будут думать, — поднимаясь, проговорил глава города. — Такие дела с бухты-барахты не делаются. Подумайте, — поглядел он на Волхва. — Хорошенько подумайте.

Они ушли, профырчали моторами, бешено прокрутились колесами, трогаясь с места, их черные лакированные зверюги, укатили, а мы вернулись от оконец вагончика к столу, обменялись мнениями и решили безоговорочно: нет, никаких уступок, этого только не хватало! И еще решили: об ультиматуме должны узнать все. Прямо сейчас. Чтобы разъярились. Пусть тогда попробуют свои способы... перед яростью все бессильно, пусть попробуют!

3

Вечером я не пошел на наше ежедневное заполночное бдение над инженерной документацией — я гулял с Веточкой.

— Я соскучилась по вас, — сказала она, вызвав меня из вагончика, глядя мне в глаза с лукавым своим жадным сиянием.

Мы виделись с нею два дня назад, когда она, пропуская занятия в институте, работала на стройке; снова прийти работать собиралась только через неделю, и через неделю мы должны были свидеться.

— Я соскучилась, — повторила она с требовательной лукавой покорностью, и попробовал бы кто отказать ей в ее желании, а мне и не нужно было отказывать, я сходил с ума уже от одного лишь сознания того, что увижу ее только через неделю.

Я сходил с ума от ее глаз, от ее радостной открытой

улыбки, от того, какая она тоненькая, хрупенькая — впрямь веточка, — но с характером при этом — ого: решительным и твердым, как сталь.

— Ну? Рассказывайте, — сказала она, искоса снизу заглядывая мне в лицо. — Что сделали за это время? Какие новости?

Она обращалась ко мне на «вы». Мне уже было двадцать пять, а она лишь недавно окончила школу, ей только подходило к восемнадцати, и я казался ей ужасно взрослым.

— Ага. Так вот прямо взять и рассказывать. Все равно как с трибуны.

— Ой, мне хочется послушать вас. Мне так нравится, когда вы говорите, — сказала она.

Боже, кто б устоял перед нею! А может, и устоял бы? И дело было просто в том, что нашим душам изначально было уготовано потянуться друг к другу при встрече, ей — открыться мне с этой вот безоглядной светящейся прямотой, а мне — не устоять?..

Я рассказывал ей о сегодняшнем приезде городских властей, об их ультиматуме и нашем решении, рассказывал, как мы боролись сегодня с водяной линзой, на которую наткнулись при проходке шахты, она слушала, время от времени заглядывая мне в лицо обжигающим своим сиянием, мы шли по тускло освещенным ночным улицам неизвестно куда, сворачивали, возвращались обратно, снова поворачивали, и порой я замечал, как она, переступив ногами, приноравливает свой шаг к моему.

Мелкий, крапчатый осенний дождичек высеялся из ночного небесного мрака. Покалывало водяной взвесью лицо, попадало на руки, за шиворот.

Зонта у нас не было, и мы зашли в подъезд какого-то дома. Желто светили лестничные лампочки, стены были исписаны и искорябаны всякими надписями, около бачка для пищевых отходов между маршами громоздилась целая куча мусора.

— Ой, ну почему это у нас везде так, — с улыбкой неловкости, будто это был ее дом, кивнула Веточка на ходу в сторону кучи. Мы хотели остановиться тут, на этой площадке, но из-за мусора пошли дальше, наверх. — И у нас в подъезде то же самое. Словно бы людям все равно, как они живут.

— Построим метро — и все везде станет иначе, — сказал я.

— Да? — удивилась она. — Какая же тут связь?

— Такая же, как между этим мусором и нынешним кошмаром в автобусах и трамваях.

— Да-а? — снова непонимающе протянула она.

Мы поднялись на следующую площадку между маршами, здесь только что-то хрустело под ногами, вроде осыпавшейся штукатурки, но в остальном было чисто, и мы здесь остановились.

— Это общая атмосфера, — сказал я. — Ее действие. Понимаешь? Если скверно там, будет скверно и тут. Человек не может быть безнравствен в одном месте и нравствен в другом. Если он лезет по головам в трамвае, спеша на работу, дома у себя он будет валить мусор куда угодно. Это закон. И когда мы построим метро, где будет чисто, светло, красиво, никакой давки и тесноты, тепло зимою и летом, а поезда будут ходить как часы, будет царствовать порядок, скорость и комфорт — это тотчас отзовется на всей жизни. Человек не может быть одним здесь и другим там.

И еще и еще говорил я ей о том, как изменится жизнь с появлением метро, насколько она станет чище, светлее, нравственнее, — я мог говорить об этом сколько угодно. Впрочем, заговорив об этом, я уже не мог остановиться...

Мы простояли в подъезде часа два. Дождь кончился, я проводил ее до дому и побежал к себе в вагончик на стройку. «Побежал, убегаю», — говорят иногда про себя, имея в виду, что торопятся, спешат, но я именно бежал. Я не мог просто идти, пусть и быстро, меня распирала

жажда движения, я чувствовал себя сильным, здоровым, счастливым, просто идти — этого было мне мало.

Ночь стояла вокруг, черны были окна домов, пустынны улицы, и я бежал, мерно работая ногами и руками, ногами и руками, они ходили у меня взад-вперед, взад-вперед, как шатуны, я бежал и думал о том, что мы построим метро, построим, чего бы нам это ни стоило! Я женюсь на Веточке, и мы построим его, построим! Как бы власти ни мешали нам. Мы построим чудесное красивое метро, и Веточка родит мне детей, мальчика и девочку, а может быть, троих, четверых! Ни в одном городе мира не будет такого метро, как у нас, такого светлого, великолепного, праздничного! Да, нам нужно метро не просто как транспорт, а как дворец, как храм, чтобы он стал символом высоты нашего духа, его величия, его мощи, неукротимости! И мы будем приходить с Веточкой и нашими подрастающими детьми в подземные прекрасные залы, и будем любоваться ими, и будем рассказывать детям, как все начиналось и как трудно было, но мы все одолели, все пересилили — и вот вы теперь имеете это!

Как жаль мне тех, кто не испытал в молодости подобных чувств. Как жаль!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Молодых людей с одинаково настороженными, нервно-внимательными глазами и военной выправкой мы заметили около стройки дня через три, как был окончательно отвергнут ультиматум властей. Уже стояла зима, земля была укрыта снегом, и их черные праздношатающиеся фигуры на белом снежном фоне так и бросались в глаза. Ни с кем из нас они не заговаривали,

стояли на своих обусловленных местах или фланировали по намеченному маршруту и, если приходилось столкнуться нос к носу, только молчаливо и бегло улыбались, откровенно, в упор разглядывая тебя, будто ты был насекомым, чья участь — сидеть на булавке — предрешена, и дело лишь за временем.

— Какого дьявола! — кипел Рослый. — Что они шляются! Мы тут работаем, а они — как надзиратели. Начистить им морды и пустить отсюда затылком вперед!

— Зачем? — Магистр со спокойной улыбкой пожимал плечами. — Трутся около нас и пусть трутся, пока не мешают.

Волхв кивал согласно.

— Именно, именно. Пусть трутся. Очень может быть, на то они и рассчитывают — спровоцировать нас. Очень может быть. Не обращать на них никакого внимания — лучше всего.

Что-то готовилось — это мы понимали, но что?

На стройке между тем все шло своих чередом: прибывали машины с металлом, машины с лесом, машины с бетоном, привезли в разобранном виде еще один проходческий щит, завершалось строительство надземного здания метро, наклонный ствол был пробит, и проходчики начали выбирать первые кубометры породы, чтобы вести горизонтальный туннель. Подступал Новый год, заворачивали морозы, снег лежал вокруг пушистыми метровыми сугробами.

Тут-то, под Новый год, и началось.

Людей, приходивших на стройку, одного за другим, одного за другим, день ото дня все больше, стали увольнять с работы. Того по причине пенсионного возраста, другого по сокращению штатов, третьего — вкатив ему за несколько дней чуть не десяток выговоров по разным поводам... Да когда нужно уволить, всегда найдется для того способ.

Их увольняли — и не брали нигде в другом месте. И это при том, что повсюду на досках висели отпечатан-

ные в типографиях объявления: «Требуются... требуются... требуются...»

Было яснее ясного, что подобное скоро произойдет и у студентов. Никто из них просто не сдаст подступающую сессию, и все будут отчислены. А на работу никуда не устроятся...

Ловко было придумано все это. Умно и ловко. Не мытьем, так катаньем — в самом деле.

Зачем отключать электроэнергию, чинить всякие другие мелкие помехи? Лишить людей куска хлеба — и сыграть на этом, вот ход! Энтузиазм энтузиазмом, а есть нужно каждый день, и что останется от твоего энтузиазма, когда тебе нечего станет есть? Ко всему тому голод замутняет разум, и, поманив запахом пищи, голодного можно подтолкнуть на что угодно. Идя на запах пищи, голодный на своем пути будет готов сокрушить все, включая и то, что собственными руками строил вчера.

И если допустить даже, что все эти многие сотни людей присоединятся к нам, живущим здесь, на стройплощадке, и сделают метро, как и мы, тем единственным делом, которым они отныне будут жить, сделают метро своей жизнью, — как нам всем прокормиться? Что говорить, так, как кормились мы до сих пор, прокормиться двум с половиной десяткам человек, — это возможно. Но прокормиться таким же образом двум с половиной тысячам — нереально.

Нужно было что-то предпринимать...

2

Наш ответный удар был нанесен три дня спустя.

Моей группе было выделено три легковые машины, одну из них я добыл сам, взяв у отца.

Мы прибыли к булочной минут за пять до закрытия. По разработанному заранее плану в магазины нужно

было войти перед самым концом их работы, дождаться, когда уйдут все покупатели, и после этого уже приступить к операции. В эту пору подсобки с товарами еще открыты и еще не включена сигиализация, а деньги, как правило, сданы инкассаторам, и никто с улицы не должен нам помешать.

— А вы там что ковыряетесь, эй! — крикнула кассирша, выбираясь из деревянного загончика кассы на волю. — Время уже, все, уйду сейчас — не оплатите!

Уборщица в синем халате, ляэгнув щеколдой, выпустила в дверь последнего покупателя.

— Начали! — дал я команду.

Трое из группы тотчас рванулись к двери — оттеснить от нее уборщицу и встать там на страже, а я и другие трое бросились в подсобное помещение — перекрыть рабочий вход и собрать всех магазинных работников в одном месте.

Не очень весело все это было, хотя, конечно, со стороны выглядело довольно комично. Кассирша решила, что ее собираются грабить, и, забыв о том, что денег у нее в кассе три с половиной копейки, рвалась обратно в свой дощатый загон, чтобы нажать сигнальную кнопку, ее не пускали туда, подхватив вдвоем под руки, а она все рвалась. Уборщица, наоборот, попыталась выскочить на улицу, и пришлось втаскивать ее обратно, она раскорячилась в открытых дверях, вцепилась в косяк и все приговаривала с ужасом: «Я ж старая!.. Старая!.. Старая я ведь!..»

Мы перекидали хлеб с лотков в привезенные с собой чистые мешки, взяли десяток деревянных поддонов с кульками сахарного песка, набили пару мешков сухарями вперемешку с конфетами, и, когда все это было загружено в машины, я написал директорше бумагу, короткий текст которой мы во главе с Волхвом отработали накануне до последнего слова: «Реквизировано силой в пользу строителей метро, лишенных властями

средств к существованию...» Дальше шел полный перечень реквизированных продуктов, моя подпись — «От имени Инициативной группы» — и дата.

— Что мне с ней делать, с этой бумажкой? — закричала директорша, когда я отдал ей лист. — Вы, что ли, материально ответственное лицо? Пропади оно пропадом, ваше метро!

Я не стал ничего отвечать ей. На улице уже поуркивали моторами готовые уезжать машины, и мне нужно было спешить.

В тот вечер мы «взяли» четыре магазина. Кроме булочной — два продуктовых и один промтоварный. Для продуктовых, чтобы погрузить все эти мясные туши, коробки с маслом, ящики с крупами, понадобились грузовые машины, и пришлось угнать два пустых грузовика, неосторожно оставленных какими-то водителями на улице без присмотра. В промтоварном нам нужны были самые обиходные вещи — мыло, одеколон, полотенца, материя для тряпок, некоторая хозяйственная утварь, — и там мы обошлись, как и в булочной, лишь легковыми автомобилями.

...Мы еще не успели перетаскать с улицы в надземное здание метро добытые продукты и вещи — на дороге за вагончиками проревели, подкатывая, засветили фарами, выедая тьму, мощные тягачи, смолкли, и из их кузовов посыпались на землю одна за другой, взметывая длинные полы шинелей, темные тигуры. В правой руке на отлете каждая из них держала тонконосый, длиннотелый предмет, и как-то не сразу, не вдруг до нас до всех дошло, что предмет этот — автомат.

Не более чем через пять минут вся территория стройки была взята в оцепление. Мы ждали, бросив свою работу, что будет дальше, но дальше ничего не последовало.

Однако некоторое время спустя, когда все наконец было перетаскано под крышу и те, кто принимал участие в нынешней операции, но не жил на стройке, попытались

выйти наружу, чтобы ехать домой, солдаты их не выпустили. «Стой, не подходи! Стрелять буду!» — звучали то тут, то там команды, и в чистом, морозном ночном воздухе сухо и страшно клацали передергиваемые затворы.

3

Утром солдаты не пропустили за свою цепь ни одного человека, приехавшего на стройку. Многие из тех, что лишились работы, перестали ходить к нам, но большинство все же ходило, и снаружи, за линией оцепления, собралась целая толпа.

Мы со своей стороны решили жить так, словно ничего не произошло, и после завтрака все, кто находился внутри оцепления, по-обычному спустились в шахту. Наверху осталось только несколько человек. Остался наверху и я. Хотя мы и решили жить, не обращая внимания на цепь солдат, события каким-то образом должны были развиваться...

Они не замедлили с развитием.

Подкатили две черные машины, прохлопали дверцами, и по снежной укатанной дороге, беспрепятственно миновав оцепление, пошли к вагончикам трое мужчин, с неспешной солидной грузноватостью, в добротных, толстого дорогого материала пальто с широкими, серебристо играющими на солнце воротниками из редкого меха.

Все трое приезжали к нам в прошлый раз, сопровождая главу города.

— Бандитизмом занялись? — не дожидаясь, когда мы рассядемся за столом напротив, с властно-суровым выражением лица, в упор глядя на Волхва, сказал тот, что зачитывал в прошлый раз ультиматум. Видимо, он был нынче старшим.

Волхв выдержал паузу, так же в упор глядя ему в глаза, потом сказал:

— Всякое действие вызывает противодействие. С какой силой вы будете давить на нас, с такой же силой мы и ответим вам.

— Не позволим! — Ухмылка, вдруг прозмеившаяся по губам этого старшего, была какой-то сардонически-плотоядной. Словно б мы все, незнаемо для нас, были со всеми своими потрохами у него в руках, нет, не в руках даже, а в зубах, как мышь у кошки, и это только нам представлялось, что мы можем в любой момент, чуть лишь зубы приразомкнутся, убежать, но он-то, державший нас в зубах, прекрасно знал, что никакой возможности убежать у нас нет.

— А мы и не будем спрашивать вашего позволения, — спокойно, не обратив ни малейшего внимания на сардоническую ухмылку представителя властей, сказал Волхв. — Вы решили оставить людей без куска хлеба — мы решили дать им его. Только и всего.

— А мы, — сделав ударение на «мы», вновь каменея лицом, ответил тот, — не позволим вам дать его. Никто к вам сюда не пройдет. Для чего, вы думаете, оцепление? Вас охранять? Еще не хватало! Никого к вам не пропустить, вот для чего. Сидите здесь со своими запасами. Ешьте вволю. Надолго хватит!

— Ах, суки! — ругнулся Рослый.

Он только выговорил вслух то, что каждый из нас тем или другим словом проговорил про себя.

— Ну, — вновь выдержав паузу, произнес Волхв, — и что дальше? Мы, в свою очередь, тоже что-нибудь придумаем ответное. Так, значит, и будем заниматься перетягиванием каната?

— Ничего подобного, — сказал все тот же, что был старшим. — Никто вам такой возможности не предоставит. Соглашаетесь на прежнее наше условие — и конфликт исчерпан. Все будут восстановлены на работе, а о вашем бандитизме забыто. Если не соглашаетесь... Во-первых, значит, никого к вам не пропускаем, а во-вторых, не пропускаем транспорт с грузами. Ни сейчас,

ни потом. Вообще не пропускаем. Чем хотите, тем и крепите. Чем хотите, тем и бетонируйте.

— Ах, суки! — снова выговорил Рослый.

И снова это было сказано за всех нас.

— Вот вам для первого размышления, — как и в прошлый раз, будто не заметив оскорбления, поднимаясь, сказал представитель властей. — Подумайте, крепко подумайте.

Провожать их никто из нас не пошел. Никто из нас даже не поднялся из-за стола. И когда дверь вагончика захлопнулась, все так и остались сидеть, и все молчали, — что-то невыясненное словно бы висело в воздухе, недоумение какое-то, какой-то вопрос...

Магистр первый сумел нащупать его.

— Странно... — произнес он.

— Что странно? — тут же отозвался Волхв.

— То, что все их санкции не затрагивают нас. Никоим образом. Ведь, казалось бы, можно прижучить и нас каким-то образом, но нет...

— Подвоз материалов они нам блокируют, — сказал Декан, — это что, не против нас санкции?

Магистр отрицательно покачал головой.

— Это все средства давления. Я о другом: чего бы, казалось, им не проучить нас как следует? Чтобы мы на своей шкуре почувствовали: с вами не шутки шутят! Скажем, арестовать нас. Ну, не всех, но пятерых, шестерых, десятерых, наконец... нет, не прибегают к такому! Только давят на нас, и все, гнут, но не ломают.

— Ты прав, прав, — проговорил Инженер. — Жмут, но всегда словно с таким расчетом, чтобы не пережать.

«Но не ломают», — сказал Магистр, — и будто рвануло туманную завесу у меня перед глазами, она поползла, полезла клочьями, разваливаясь. «Чтобы не пережать», — сказал Магистр, — и туман истаял вконец, исчез, и будто в бездну я глянул.

Вся история нашей борьбы за метро развернулась передо мной — от первой той давней демонстрации пе-

ред Домом власти до нынешнего визита этих трех его обитателей, — и я увидел ее изнанку.

Ведь мы же все были в ней марионетками, вот что! Все, включая и Волхва! Да нами же искусно и ловко манипулировали, а мы и не догадывались о том. Мы думали, что мы сами по себе, мы полагали, что мы в дичайшей борьбе и судорожном напряжении сил заставили власти отступить, поддаться нашему напору, а это все заранее было спланировано, рассчитано, заброшен крючок — и мы на него попались, проглотили его и не заметили того. Все, начиная с той газетной публикации о метро, было сделано не случайно, все нарочно было сделано, для затравки. Волхв ошибся, посчитав, что властям не нужно метро и оттого они положили его проект под сукно. Ничего подобного! Оно было им нужно. Но они решили построить его задарма. Без затрат. Мы с самого начала были только марионетками, кукловоды дергали нас за ту ниточку, за какую им нужно было, а мы послушно отзывались необходимым действием...

— Не-ет... — сказал Волхв, когда, сбиваясь, перескакивая с одного на другое, чувствуя, как бешено стучит сердце, сам страшась того, что говорю, раскрылся я в своем озарении. — Не-ет, это чепуха...

Но в голосе его, отчаянно утаиваемая, билась, как жилка на виске, неуверенность, и был его голос странно жалобен — Волхв будто просил пощады, просил меня взять мои слова обратно, перечеркнуть их, покаяться в содеянном, как в грехе.

— Нет, не чепуха. Так это все и есть, — сказал я безжалостно. Почему я должен был жалеть его? Что, мне было легче, чем ему, от страшной сути открывшегося? — Мы вроде наживки на крючке. Сами попались и других ловим.

— Не-ет, — снова повторил Волхв, весь перекривясь лицом, как от мучившей его тайной боли. — Нет же, не-ет...

— Да чего там говорить «нет», если «да», — взвинченно, едва не на крике сказал Декан. — Конечно, «да». Яснее ясного... Теперь, — добавил он через паузу.

— Нет, — опустив руки на стол и подняв голову, с яростью проревел Волхв. — Нет, этого не может быть! Я их просто разворошил, как поганый муравейник, им просто ничего не оставалось другого, как напечатать то сообщение, а потом... потом отступить перед нами, так мы навалились на них!..

— Брось, — сказал Магистр. Обычное его хладнокровие не изменило ему, и в отличие от нас всех он был спокоен. — Брось, чего там дурить себе голову. Попались, как последние дурачки... надо признать. И думать, что дальше. Как дальше. Может, послать все к черту, катись оно, пусть сами строят?

Глаза у Волхва полыхнули ярким, бешеным, сумасшедшим огнем.

— Да-а?! — выкрикнул он. — Сами? А ради чего тогда мы... Отдать им?! Не-ет! Исключено! Стать независимыми от них — вот что нужно! Чтобы ни металла у них, ни бетона, ни рук рабочих...

И почему-то тут все глянули на Инженера. Словно бы какой-то ток вдруг заструился от него, и все этот ток уловили.

— Я уже думал о независимости, — сказал Инженер. — Но нормальных способов обрести ее нет. Есть только один. Совершенно ненормальный. Спуститься под землю. И прервать с землей всякую связь. Технически это возможно.

— Возможно?! — воскликнул Рослый. До этого он молчал все время. Ни слова не вымолвил. — А куда выбранную породу девать? Есть ее, что ли?

Инженер посмотрел на него и махнул рукой.

— Это — самое простое. В километре отсюда — карстовая пещера, пробить туда штольню — и вся проблема с породой. Электричество нужно, металл, лес, бетон, жратва, наконец, — вот проблемы!

— Все! — сказал Волхв, поднимаясь и обдавая всех по очереди сумасшедшим огнем своих полыхающих глаз. — Никаких обсуждений больше. Расходимся до вечера. Идея имеется: под землю! Абсолютно ненормальная идея и потому, может быть, вполне реальная. Обмозговываем ее. Вечером собираемся и делимся мыслями по этому поводу. Все!

Я сходил по ступенькам вагончика, и меня буквально качало. Положим, это возможно технически — спуститься под землю и прервать с землей всякие отношения. И сколько же это сидеть так — год, два, три? Не видеть неба, не ходить по траве, не подставить, зажмурясь, лицо под первый жар мартовского солнца, ощущая, как налетевший порыв свежего ветерка с легкостью гасит этот жар и кожу овевает прохладой. Нет, это невозможно, нет! Невозможно лишиться земли, ее света, ее запахов, ее простора! Это бред, идиотизм, какая-то конвульсия фантазии! Мы попались, как рыба на крючок, — да; мы должны наконец обрести, несмотря ни на что, независимость — тоже да; но не такой же ценой, не ценой отречения от своего человеческого естества! Это кротам свойственно жить в земляном нутре...

Толпа за линией оцепления была все так же густа и плотна, как и утром.

Солдаты в оцеплении, с автоматами, взятыми в руки, стояли попарно: один — оборотясь лицом к толпе, другой — в нашу сторону.

— Что, плетью обуха не перешибешь? — сердобольно крикнул из толпы чей-то голос, как бы облегчая нам предстоящее покаяние в принятом капитулянтском решении.

Волхв, визжа снегом, быстро пошел к толпе. Солдат, обращенный лицом к нам, остановил его шагах в пяти от себя. Волхв поднял руку, требуя внимания, выждал мгновение и закричал, произнося раздельно каждое слово, чтобы каждое было понято:

— Все будет нормально! Будьте уверены! Своим не поступимся! Дайте нам три дня на решение! Сейчас расходитесь, не мерзните! Через три дня — приходите, все будет нормально, будьте уверены!

4

Спустя два дня на встрече все с теми же тремя представителями властей мы приняли предъявленный нам ультиматум. Теперь половина всего того, что производилось для нас — из сэкономленного, выгаданного сверхурочной работой, — у нас отбиралась.

Снова проревели на дороге за вагончиками тяжелые тягачи, и солдаты, с автоматами, переброшенными через плечо дулом вниз, торопясь и толкаясь, полезли через борт в кузова.

Утром следующего дня все работы на строительстве были возобновлены в полном объеме. Многие из приехавших радостно сообщали, что им уже позвонили с их прежней работы и пригласили вернуться.

Со стороны, должно быть, казалось, что все возвратилось на круги своя.

Но это было вовсе не так.

Теперь параллельно со строительными работами мы вели еще и другие. В карстовую пещеру, о которой говорил Инженер, была снаряжена экспедиция, пещера была исследована до самого последнего закоулка, обмерена и обнюхана, и выяснилось, что ее многозальные объемы, лабиринты ее ходов и переходов могут вместить выбранной породы раз в десять больше, чем мы ее выберем. И была в ходе обследования открыта там настоящая подземная река, бурная, с прекрасной, чистой водой. Правда, расстояние до пещеры оказалось не километр, а почти два, но первую штольню к ней мы решили пробивать небольшую, работы велись круглосуточно, не замирая ни на минуту, и к весне штольня была пробита.

Круг посвященных в затеянное делался той порой все шире, и, когда штольня была пробита, к нам отовсюду хлынуло необходимое: разобранное на части оборудование для гидроэлектростанции, оборудование для производства цемента, оборудование для выплавки металла, холодильные установки, станки и всякие другие машины в разъятом виде... При проходке штольни было обнаружено несколько угольных жил, в самой пещере в одном из залов магнитная стрелка плясала, как бешеная, — где-то там, в глубине, значит, было рудное тело... Мы запасались продовольствием, медикаментами и впрок, на всякий случай, решили создать под землей свое, автономное сельскохозяйственное производство: спустили туда десяток высокоудойных коров, пару свиноматок с боровом, построили теплицы для гидропонного земледелия...

Подготовка к уходу под землю заняла у нас год с лишним. Нужно было не только технически подготовиться, но и набрать достаточное число людей, готовых расстаться с землей. Это, пожалуй, была проблема почище всяких технических.

И все же энтузиазм — великая вещь! По нашим прикидкам, нам нужно было под землей человек шестьсот-семьсот, а набралось в итоге две тысячи.

Новой весной, в холодную ветреную мартовскую ночь, мы с Веточкой в последний раз обходили улицы нашего города. Хрустел под ногами ледок замерзших лужиц, прорывалась в разрыве облаков своим спокойным маслянисто-зеленоватым светом громадная, только-только пошедшая на убыль луна, и иногда то тут, то там в этих разрывах проступали звезды, холодно и колюче обжигали глаз и снова исчезали за мутною пеленой.

Мы гуляли с Веточкой, расставаясь не друг с другом, а с землей. Она уходила вниз вместе со мной.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Сон мой, как обычно, был мучителен и тяжел, и телефонный звонок, вспоровший его, сначала вошел в его кошмар дико верезжащей дисковой пилой, распиливающей меня пополам. И ладно, если бы она сделала свое дело зараз, разъяла меня — и конец, но она вдруг прерывала свое верезжащее вращение, стояла какое-то мгновение неподвижно, будто передыхая, и так же вдруг, взяв без всякого разгона прежнюю скорость, вновь вгрызалась в меня.

— О господи! — простонал я, осознавая, что пила — это всего лишь кошмар сновидения, а на самом деле то трезвонит в кромешной тьме телефон. Я пошарил на полу около постели, где всегда оставлял аппарат на ночь, наткнулся на него и снял трубку. — Аллё! — произнес я в микрофон приглушенно и хрипло.

Звонил Рослый.

— Декан умирает, — сказал он.

— Иду, — сказал я и положил трубку. Больше ни ему, ни мне не нужно было ничего говорить, все было сказано.

Веточка, конечно, тоже проснулась.

— Что? — спросила она встревоженно.

Ночные звонки были не такой уж редкостью, отчего я и держал телефон у постели, но каждый из них был связан с чем-нибудь чрезвычайным, и она за все прошедшие годы так и не привыкла к ним.

Кто к ним привык, так это наши дети. Мальчики спали в другом конце комнаты, звонок разбудил и их, но они только поворочались, сонно вздыхая, и все, не издали больше ни звука.

— Ничего, милая, — сказал я, находя в этой кромешной тьме лицо Веточки и гладя ее по щеке. —

Ничего не случилось, спи. Это Рослый, он сегодня в диспетчерской дежурит, и что-то ему сбредило потолковать со мной. Знаешь же его. Спи.

Я не хотел говорить ей правду сейчас, среди ночи. Уйду, а она будет ворочаться тут одна до подъема... Конечно, она не поверила мне, и тревога в ней осталась, но все же так лучше, чем если бы я сообщил ей.

Шурша в темноте одеждой, я оделся, отыскал на своем обычном месте фонарь и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Здесь, в коридоре штольни, потягивало, веяло ветерком из вентиляционных стволов, но темь была точно такая же, как и в комнате, не горело ни единой лампочки. Мы экономили электричество и на ночную пору отключали все освещение. Электричество нужно нам было во время работы, нам было нужно очень много электричества, приходилось исхитряться, и ночью мы заряжали аккумуляторы.

Я включил фонарь, лучик его был совсем слаб — видимо, младший сын, в обязанности которого входило следить за фонарем, опять забыл воткнуть его на день в электророзетку, — но за четырнадцать лет подземной жизни я так хорошо изучил все сужения, все повороты, все пересечения штолен, что мог бы бежать и в темноте, не включая фонаря.

Каменная крошка громко хрупала у меня под ногами, уходить звукам было некуда, не успевал раствориться в воздухе звук предыдущего шага, как его настигал новый, и штольня была вся наполнена этим хрупаньем.

Штольня, по которой я бежал, оборвалась, пересеченная под острым углом другой, и я увидел справа от себя еще один огонек фонаря. Он не прыгал из стороны в сторону, как было бы при беге, а слегка раскачивался, и я определил, что это Волхв. Магистр, пожалуй, как и я, бежал бы.

Так оно и оказалось — это был Волхв. Мы осветили друг друга фонарями, и он, тяжело, одышливо дыша, сказал:

— А не жди ты меня, давай вперед. Пока я дошаркаю...

Я снова побежал.

В больничную штольню электроэнергия подавалась, но в палате, где лежал Декан, горела только слабая синяя лампа над дверью. Я даже не сразу разглядел Рослого, поднявшегося мне навстречу. Декан на кровати хрипел и булькал, но дыхание его было до невозможного редким — один, наверное, вдох за минуту, не больше.

— Врач сказал, агония, и сделать он ничего уже не в состоянии, — подойдя ко мне, тихо проговорил Рослый. — Я вас вызвал — может, Декан перед смертью придет в себя.

Я обнял Рослого, он ответно обнял меня, и какое-то время мы стояли так. Нам нужно было это объятие.

Потом он вернулся на свое место на краю кровати, а я сел на табурет рядом. Магистра еще не было. Спустя какое-то время появился Волхв. Он молча прошел к кровати и, потеснив Рослого, опустился перед нею на колени. Седая его длинная борода встопорщенно легла рядом с худой, откинутой в сторону рукой Декана.

Декан, с долгим клокочущим хрипом выдыхая воздух, мученически искривил рот, ноги его медленно согнулись в коленях, встопорщив одеяло, и упали, неподвижно лежавшая до того рука дернулась перед лицом Волхва в конвульсии.

Волхв непроизвольно отпрянул.

— А-ай ты... — сказал он немного погодя и сел перед кроватью. — Ай-ай же ты!.. — снова протяжно проговорил он, глядя на изломанное агонией, странно стекшее вбок, уже чужое, нездешнее, неузнаваемое лицо Декана. — Прости нас... прости, что вот так вот...

Не знаю, что он имел в виду. Я же, следом за ним произнося про себя слова покаяния, винился перед Деканом в своем здоровье. Насколько ему пришлось тяжелее, чем мне. Чем многим из нас. Чем большинству. Там, наверху, это не очень сказывалось — физическая его

хилость, а может быть, просто ему удавалось перемогать себя. Здесь, под землей, ему сразу стало тяжело, ни дня за все прошедшие годы не видел я его вполне здоровым. Всегда охрипший, всегда с насморком, всегда бухающий тяжелым кашлем... Эти постоянно веющие в штольнях, выдувающие метан сквозняки были для него настоящей Голгофой. Как он и протянул столько лет! Сколько раз болел он воспалением легких до нынешней пневмонии? И вот все, кончились силы, исчерпались. Уже наверняка, уже точно никогда не увидеть ему выносящийся из темного туннельного жерла на залитую светом станцию, грохочущий, визжащий колодками тормозов поезд, никогда не вознестись из давящей потолочными сводами подземной глуби к зеленому, голубому, распахнутому ввысь до беспредельности земному простору...

Магистр почему-то все не появлялся. Я даже спросил Рослого — позвонил ли он ему; оказывается, позвонил. «Самому первому», — сказал Рослый.

Наконец Магистр возник в дверях. Он открыл их как-то очень медленно, будто двери были неимоверно тяжелы, и так же медленно, словно преодолевая некое сопротивление, прошел к кровати, но задержался возле нее лишь на короткое мгновение — как приостановился — и отошел в угол.

— Ты чего так долго? — спросил Рослый.

— Долго разве? — через паузу, словно смысл сказанного не сразу дошел до него, переспросил Магистр. Помолчал и сказал: — Ноги не шли. — Помолчал еще и проговорил с ожесточением, что так не свойственно было для него прежнего даже еще, пожалуй, и год-два назад: — Не могу смириться: Инженера нет, сейчас вот Декан, и сколько уже там... а нам еще так долго идти, столько еще впереди... ну прямо как горизонт, отодвигается и отодвигается... не могу!

— А ты пореже вперед заглядывай, — оборотясь к нему с кровати, как кулаком вбивая в него эти слова, сказал Рослый. — Ты назад почаще оглядывайся —

сколько уже сделано. Оглядываться почаще назад — легче будет смотреть вперед.

Он, довольно неожиданно для нас всех, понемногу-понемногу, но год от году все более явно выдвигался в наши вожди, оттесняя Волхва на задний план; странно, но именно в нем, нетерпеливом, не очень уравновешенном, взрывчатом, склонном под влиянием эмоций ко всяким крайностям, именно в нем обнаружилось со временем больше, чем в каждом из нас, твердости, цельности, настойчивости, а самое главное — и способности объединять людей, поддерживать в них огонь веры прежней силы и яркости.

— Да-а, — ни к кому не обращаясь, сказал Волхв. — Сделано много, очень много... — И умолк, будто оборвав себя, будто недоговорив, и по интонации его было ясно, что хотел он сказать о том, что работы впереди — еще больше.

Туннели метро, по которым должны были, в свою очередь, помчаться со звонким грохотом поезда, делались все длиннее, красные линии, которыми мы обозначали их на схеме города, змеясь, разветвляясь, все дальше уползали от той точки, что отмечала место закладки метро, — дело двигалось.

Но двигалось медленно, куда медленнее, чем того бы хотелось. Собственно, проходкой туннелей и обустройством их занималось совсем немного людей, основная масса была отвлечена на производства, что обеспечивало возможность работы этих немногих.

Мы были настоящим натуральным хозяйством. И хозяйство это все расширялось и усложнялось.

Вдруг в один прекрасный момент разбарахлился, посыпался к чертовой матери весь наш машинно-станочный парк, собранный перед спуском под землю с миру по нитке, и пришлось создавать что-то вроде машинно-реставрационной службы — со своим конструкторским бюро, каким-то подобием лаборатории... Мощности электростанции и всегда-то не хватало, но тут мы стали

просто захлебываться от этой нехватки и оказались вынуждены строить в дополнение к ней еще одну, но где было взять для нее оборудование? — все пришлось изготовлять самим, а для того чтобы изготовить, организовали сначала еще одно новое производство. Росла, и год от году все быстрее, потребность в металле. Руда, из которой мы выплавляли чугун и сталь, была не очень богатой, но и не очень бедной, а вот медная оказалась совсем тощей, как и глиноземы, ради меди и алюминия приходилось переворачивать горы породы, пробивать километры и километры штолен, их нужно было крепить, а, кроме металла, иного крепежного материала у нас не имелось, и получалось, что мы пробивали штольни ради металла и выплавляли металл ради того, чтобы пробивать штольни. Это был замкнутый круг, и было в нем еще одно звено, что оттягивало на себя с каждым годом все большее число рабочих рук: утилизация переработанной породы. Объемов пещеры для устройства отвалов уже не хватало, мы пробивали одну штольню и засыпали выбранной из нее породой другую, пробитую раньше, беспрестанно двигали, перевозили тысячи тонн внутри нашего подземного города туда-сюда.

Продовольствие, которым мы запасались, уходя под землю, давным-давно кончилось. Мы уже порядочное время были на полном самообеспечении, и чем дальше, тем больше сил и людских ресурсов оттягивало на себя наше продовольственное производство. Коровы, которых мы спустили с собой под землю, дали вполне здоровое потомство, и это потомство дало свое потомство, но удои год от году делались все меньше, все меньше — никакая вентиляция не могла заменить свежего земного воздуха, никакое электричество — солнечного света, пришлось увеличивать поголовье, а увеличив его, пришлось увеличивать производство кормов, а увеличить производство кормов — это значило увеличить число теплиц, в которых на гидропонике мы выращивали все, от пшеницы и вики до огурцов с редисом, но, увеличив число теплиц,

нам пришлось расширять и наше химическое производство, которое различными перегонками, выпарками и прочими способами готовило для гидропоники питательные растворы. Получился еще один замкнутый круг, и чем шире он становился, тем у́же оказывался на деле, тесня нам дыхание, будто железный ошейник на горле.

Продуктов год от году нам вообще требовалось все больше и больше. Нас теперь было не две тысячи, как вначале, а почти три. Людей в возрасте спустилось под землю не очень много, в основном такие, как мы с Веточкой, и, как ни велика оказалась детская смертность, население нашего подземного города все же неуклонно росло.

И если б они были просто лишними ртами! Но ведь их нужно было р а с т и т ь. Нянчить, ухаживать за ними, пока маленькие, присматривать, когда подрастут, и учить, развивать физически — заводить то есть детские сады и школы, оборудовать гимнастические залы, строить бассейны... Никто из нас там, на земле, и не догадывался, что это такое — растить детей, какой это труд, какие это в л о ж е н и я, какой р а с х о д. Даже и Волхв. С чего ему было догадаться, если он никогда не имел детей. А между тем одних только школьных учителей приходилось нам содержать десятков пять. Ведь не могли же мы допустить, чтобы наши дети, когда строительство будет закончено, выйдя наверх, на землю, оказались недоумками и невеждами. Нет, они должны были войти в земное общество как равные и чувствовать себя абсолютно полноценными его членами!..

В палату вошел врач. Окинул нас всех быстрым взглядом, попросил жестом Волхва и Рослого освободить место около кровати, завернул угол одеяла, открыв Декану грудь, послушал его стетоскопом, подсовывая мембрану под спину, и вытащил пластмассовые оконечности трубок из ушей бессильно-раздраженным рывком.

— Я ничего не могу сделать! — сказал он. — И да-

же попробовать не могу. Глубочайший отек, конечно... но ведь у меня вообще... какое у меня здесь оборудование... я так, вместо мебели здесь!

— Прекратите! — резко сказал Рослый. — Не можете — и не надо! Вас никто ни в чем не винит, в этом можете быть уверены!

Полчаса спустя, как и было обещано врачом, Декан пришел в сознание. Он все вздрагивал, дергал в конвульсии руками и ногами, а тут на него вдруг сошло успокоение, лицо разгладилось, прояснилось, дыхание стало чаще, ровнее, и еще немного погодя веки затрепетали и медленно, с трудом отрываясь друг от друга, раскрылись. Мы, сгрудясь, стояли над кроватью. Какое-то мгновение Декан смотрел на нас неподвижным тяжелым взглядом, так что не понять было — осмыслен ли этот его взгляд, действительно ли он пришел в себя, потом голова его на подушке повернулась влево, вправо, и вслед этому движению дрогнули в орбитах глаза, губы его приоткрылись, и он произнес сильно и трубно несколько звуков.

Что он произнес? «Ам-гам-гам-а», — услышал я. И никто не понял его, и по боли, что рябью прошла по его неподвижным зрачкам, ясно стало, что он догадался об этом. «Ам-гам-гам-а», — снова произнес он, пытаясь обвести нас всех взглядом, и снова никто не понял его.

— Вот, милый, все хорошо, тебе уже лучше, — сказал Волхв.

— Ага, ага, уже лучше! — согласно подхватил Рослый.

Декан вновь приоткрыл рот в мучительной попытке выговорить, сообщить нам что-то, но сил ему уже не хватило, губы сомкнулись, и мгновение спустя сомкнулись веки.

Минуты полторы был он в сознании, не больше. И только когда последняя, предсмертная судорога побежала по его телу, расслабляя суставы и распуская мышцы, отрывая живую душу от плоти, только тут до

меня дошло, что он хотел сказать. «Умираю», — вот что он нам говорил, вот то, чем хотел поделиться с нами, тщился сделать это, дабы мы знали, были с ним вместе, а мы не смогли облегчить его отлетающую душу своим пониманием. «Ам-гам-гам-а» — «У-ми-ра-ю» — те же четыре слога...

По часам, что давали нам отсчет времени в нашей подземной тьме, было раннее утро, когда он умер; вечером, после окончания рабочей смены, мы его хоронили.

За прошедшие годы у нас уже выработался свой ритуал похорон. Прощание мы устраивали обычно в Главном, самом большом зале пещеры, который мог вместить все наше подземное население и где вообще проходили все наши общие сходки. Жилые штольни были пробиты поблизости от него, а кладбище находилось в одном из дальних залов пещеры, идти туда приходилось по узким, извилистым переходам, и на кладбище после прощания отправлялись, как правило, только самые близкие люди.

На митинге в Главном зале я не выступал. Волхв просил меня сказать хоть что-нибудь, но будто кол стоял у меня в горле — и я ничего не мог говорить. И всю долгую дорогу до кладбища, то неся носилки с завернутым в покрывало телом Декана, то освещая фонарем путь впереди, то следуя за носилками в отдыхающей паре, так я и шел с пережатым горлом. «Инженера нет, сейчас вот Декан, и сколько уже там... а нам еще так долго идти, столько еще впереди...» — все звучали в ушах, никак не могли уйти из меня слова Магистра, сказанные над умирающим Деканом, и оказывается, во мне самом тоже было это ожесточение, ожесточение и отчаяние, я захлебывался в них, они душили меня, отнимали у меня силы...

А ведь уходя под землю, никто из нас и думать не думал, что придется устраивать в нашем подземном городе кладбище. Почему-то никому, ни единому человеку не пришла в голову подобная мысль! Но на веки

вечные лег там и Инженер, сначала погребенный под тоннами обрушившейся на него породы при проходке той самой штольни, где сейчас размещался медблок, откопанный и вот так же на носилках одолевший этот извилистый путь, и дочурка моя любимая, дочечка моя маленькая, девчушечка славная, так и не успевшая сказать ни слова, тоже там... Может быть, потому не пришла никому в голову мысль о кладбище — тогда, на земле, — что никто и помыслить не мог, что наше подземное заключение продлится не два-три, ну, четыре от силы года, а перевалит на второе десятилетие, и все ему так и не будет видно ни конца, ни краю?..

Ход, по которому мы шли, расширился, луч фонаря повис в пустоте — мы были в пещере. Сегодня я пришел сюда уже второй раз. Первый раз я был здесь утром — долбил могилу для Декана. Долбил, садился передохнуть, отдавая инструмент напарнику, снова долбил, и все время стояла в голове одна и та же мысль: а может быть, где-нибудь здесь по соседству суждено лежать и тебе?

Рослый с Магистром, несшие носилки, поставили их около могилы, и Рослый, наклонясь, отвернул покрывало с лица Декана.

Все, путь был закончен, теперь лишь — проститься со своим другом. Отныне от бывшего Вольтова братства, что в туманной дали уже семнадцатилетней давности ринулось очертя голову в борьбу за метро, ведать не ведая, во что она выльется, отныне от этого Вольтова братства оставались лишь я да Магистр...

Мы зажгли все фонари, которые были у нас, и направили их свет на лицо Декана. Так мы стояли, глядя на мертвое, отекшее, с запавшими черными глазницами лицо Декана, минуту, две, три, и наконец Волхв опустился на колено, оперся рукой о пол и поцеловал Декана в лоб. «Ну, прощай, — сказал он. — Пусть земля тебе будет пухом». И все остальные тоже стали опускаться перед носилками на колено, целовать Дека-

на — кто в лоб, кто в переносье, — и говорить ему свое последнее, прощальное слово, едва ли слышимое им, но нужное нам, остающимся жить. Прощание закончилось. Рослый снова закрыл Декану лицо покрывалом, мы сняли закостеневшее тело с носилок и осторожно, ногами вперед, вложили его в нору могилы.

Это мы первые могилы рыли в полу пещеры. Потом мы поняли, что так пространства пещеры не хватит, и стали выдалбливать могилы в стенах. И если сначала хоронили в гробах, то сейчас, давно уже, просто в саванах. Дороже всего было здесь у нас дерево, что там какое-то золото в сравнении с ним...

Снова в очередь, как кочегары в топку паровоза уголь, мы закидали могилу раздробленной породой, замесили в принесенном с собой ведре густой цементный раствор и заделали отверстие.

Теперь нужно было немного подождать, чтобы в слегка схватившемся растворе оттиснуть приготовленной доской имя Декана и годы его жизни на веки вечные.

И тут, пока мы стояли снова в молчании, но по въевшейся в кровь привычке экономить свет, оставив гореть лишь один фонарь, на меня навалились прежние ожесточение и отчаяние, и я закричал немым криком, отталкивая их от себя, собирая в кулак всю свою волю: «Нет! Черта с два!.. Сколько бы еще ни было впереди! Сколько бы ни было! Довести до конца, до последней точки! А иначе нечего было и затевать все! До последней точки, до конца! Чего бы нам это ни стоило!..»

И после, когда уже шли обратно, я все повторял про себя, как клятву: «До последней точки, до конца! Чего бы это ни стоило! До последней точки, до конца! Чего бы это ни стоило!..» Каменная крошка с грохотом шебуршала под ногами, опустевшие носилки, раскачиваясь на ходу из стороны в сторону, то и дело бились о выступы стен, побрякивал в пустом ведре мастерок, и я все повторял: «Чего бы это ни стоило! Чего бы ни стоило!..»

2

Ритуала поминок мы уже давно не соблюдали и, дойдя до жилых штолен, распрощались. Каждый пошел к себе.

Веточка ждала меня у дверей нашей комнаты — еще издали, только свернув в свою штольню, я увидел маячащую в мерклом желтом свете редких ламп ее родную фигурку.

— Как вы долго там, — сказала она, вглядываясь мне в лицо напряженным, тревожным взглядом.

Мне был понятен ее взгляд. Эта напряженная тревога всегда появлялась в нем в такие вот дни, как нынешний, когда у меня что-нибудь происходило. Безотчетно, сама не замечая того, она как бы говорила мне: я тебя люблю, ты знай, и что бы ни случилось — я с тобой, всегда, во всем, до конца.

Я благодарно обнял ее и повлек в комнату.

— Зачем ты на сквозняке тут...

— Но вы так долго, — подняв ко мне лицо и продолжая глядеть на меня тем же взглядом, проговорила она.

— Ну, какое долго, — открывая дверь, сказал я. — Пока дошли, пока там... сама же знаешь.

Впрочем, ей вовсе не нужно было мое объяснение. Она действительно знала, что совсем недолго, и просто пыталась так объяснить свое бессмысленное стояние в штольне.

Мальчики уже спали, и их угол комнаты тонул в темени. В нашем углу горела настольная лампа, освещая на столе принесенный Веточкой из столовой мой ужин: миску с творогом, кусок пресной лепешки, кружку с остывшим, заваренным мятой чаем.

— Все без происшествий? — спросила Веточка.

Сердце ее говорило ей много больше, чем мои слова.

Но я не стал признаваться ей в том, что происходило со мной весь нынешний день. Не имел я права взвали-

вать на нее свою муку. Этого только не хватало. Я должен был беречь ее. Не многим так повезло, как мне с нею.

— Никаких происшествий. Какие там происшествия... — отозвался я.

Я сел за стол, она села напротив меня, и электричество отключилось. И в самом деле, поздний уже был час.

Веточка посветила мне фонарем, я поужинал, и мы стали укладываться.

И только мы легли, в дверь постучали.

— Кто это может быть? — с той мгновенно вернувшейся к ней прежней тревогой спросила Веточка.

Я вскочил и, светя перед собой фонарем, открыл дверь.

Из черноты штольни в лицо мне ударил такой же сноп света, и я ничего не увидел.

— Лег уже, что ли? — спросил меня из темноты голос Рослого.

Я опустил фонарь лучом вниз, он сделал то же самое, и я увидел его, а он, должно быть, увидел меня.

— Пойдем погуляем, — сказал Рослый.

— Нет, я лег уже, — отказался я.

— Пойдем пройдемся, — снова позвал Рослый. — Надо. — И я понял, что это не блажь с его стороны, действительно надо.

— Все-таки что-то случилось, да? — спросила меня Веточка, когда я одевался.

Но ответить ей ничего вразумительного я не мог.

Рослый ждал меня чуть поодаль от нашей комнаты, и в ожидании, светя фонарем, рассматривал болтовое соединение в металлическом креплении штольни.

— Как думаешь, сколько лет еще выдержит? — сказал он, тыча фонарем в соединение, когда я подошел.

— Да пока, полагаю, беспокоиться нечего, — сказал я.

— Ну, лет двадцать, а? — сказал он, по-прежнему держа соединение в пучке света.

— Да, пожалуй, — сказал я.

— Пожалуй, пожалуй... — повторил Рослый и пошел по штольне к главному коридору, и пошел за ним следом я.

С минуту мы двигались молча — я ждал, а Рослый все не заговаривал, — и наконец он сказал:

— Волхв к тебе еще не подкатывался?

Я не понял.

— Что ты имеешь в виду?

Рослый снова молчал какое-то время.

— Значит, еще нет, — сказал он затем. — Или хитришь?

Я разозлился. Последнюю пору он постоянно позволял себе разговаривать вот таким образом — будто высший судья, будто уличая тебя в чем-то, — и эта его манера выводила меня из себя.

— Давай-ка ты сам не ходи вокруг да около, — сказал я. — Давай попрямее.

Я посветил ему фонарем в лицо, и Рослый, недовольно сморщившись, отвернул лицо в сторону.

— Ладно, — сказал он, когда я отвел фонарь, — мне понятно. Не подкатывался к тебе. Ясно. Почему-то стесняется тебя. Меня — нет, Магистра — нет, а тебя стесняется. Странно. Ты не обратил на него внимания сегодня? Совсем к черту расквасился.

— Ну, положим, — пробормотал я. У меня было ощущение, что Рослый сказал это про меня самого. — Сегодня-то... что ж удивительного?

Рослый резко остановился, поймал меня за рукав и, развернув к себе, заставил тоже остановиться. Лицо его оказалось у моего лица, и меня обдало его дыханием.

— Волхв хочет наверх, ясно? Просится, ясно? Чуть не плачет, просится. Хочу, говорит, умереть на земле. Главное, говорит, сделано, дело крутится, а я уже старый, толку, говорит, от меня все меньше и меньше, только буду тут у вас хлеб есть!

Меня окатило холодом. Я вспомнил не Волхва — каким он был нынче, — я вспомнил себя. Не очень-то я далеко ушел от него; разве что он просился наверх, а я изо всех сил отпихивал от себя вопль об этом.

— Это что... сегодня?

— Сегодня, ясное дело, — грубо сказал Рослый. — Все сегодня. Понимаешь, надеюсь, значение события?

Конечно же, я понимал.

Мало того, что это был Волхв, старейшина, патриарх нашего движения, человек, на биографии, на судьбе которого учились наши дети, — что было ужасно само по себе; но это ведь был именно Волхв, старейшина, патриарх, и как мы могли ему отказать? Однако не отказать ему — создать прецедент, и чем тогда все закончится?

— А что Магистр? — спросил я.

Рослый выругался.

— А, тоже раскваснлся, глядеть тошно. Он за то, чтобы отпустить.

— В самом деле? — Я удивился. Неужели обычная ироничная трезвость до того изменила Магистру, что он способен закрыть глаза на те неимоверные осложнения, которые неизбежно возникнут у нас, позволь мы Волхву выйти наверх.

— А ты нет? — вопросом на вопрос ответил мне Рослый.

— Я не знаю, — честно сказал я. — Для меня это полная неожиданность. А что ты?

— Пойдем, — тронул меня за плечо Рослый. Мы пошли, светя себе под ноги, и он сказал: — А пусть уходит, черт с ним, что делать!

— В самом деле? — снова непроизвольно спросил я.

— А что делать?! — взмахнув руками, едва не закричал Рослый. — Ты можешь ему сказать — нет?! И Магистр не может. А почему, считаете, я могу, если вы не можете? Он так просится, такой жалкий, смотреть на него...

Он недоговорил.

— А почему ты считаешь, что я «не могу»? — спросил я. — Я тебе не говорил такого.

— Не говорил, а понятно, — сказал Рослый. — Что я, не знаю тебя. «Полная неожиданность»... — передразнил он меня.

Я снес его щелчок молча. Наверное, он был прав.

— Ну, и как же он собирается выходить? — спросил я.

— А не догадываешься? — теперь в голосе Рослого я уловил усмешку. — Через канал, конечно, как еще.

— А-а, — протянул я.

Но я действительно даже не подумал, что через канал. Вовсе он у нас не был приспособлен для того, никогда, ни один человек не выходил через канал на землю и не спускался оттуда к нам.

Да, подземное наше хозяйство было натуральным. Но если быть точным до конца, вполне автономными мы все же не были. Правда, то, что мы получали через канал, было во всем нашем хозяйстве не более чем каплей в море, и однако же обойтись без этой капли мы не могли, и не могли произвести ее здесь, под землей.

Нам не из чего было получать бумагу — раз, мы оказались не в состоянии вырабатывать многие лекарства — два, и не удалось отыскать никакого, пусть бы самого тощего, месторождения соли — три. Мы обеспечивали себя даже одеждой, изготовляя материю из синтетических волокон и немного — для детей — из хлопка, семена которого также были взяты нами сюда, а вот солевой, лекарственный и бумажный узел никак нам развязать не удавалось. Ради бумаги, лекарств и соли и существовало у нас маленькое, подобное игольному ушку, отверстие на землю, которое с чьей-то легкой руки мы называли каналом.

Он действовал раз в год, в заранее условленное число, ночью. В одной из дальних вентиляционных шахт

останавливалось и разбиралось все оборудование, и в освобожденный узкий зев спускались к нам на канате одна за другой подготовленные земные посылки. Знали о канале все в нашем подземном городе, но право на приказ о демонтаже имели только несколько человек: когда-то и Инженер с Деканом, а ныне вот — Рослый, Магистр, Волхв, я... Последние же годы каналом занимался обычно Рослый.

— Я хочу поговорить с Волхвом, — сказал я. — Может быть, мне удастся уговорить его отказаться от своей мысли.

— Поговори, даже обязательно, — мгновенно отозвался Рослый. — Только, уверен, ни черта у тебя не выйдет. У него одна песня: «хочу умереть на земле», — другой не знает. Так что особо и не трудись, не нажимай особо. Обдумай лучше, как будем его уход объяснять. Вот задача тебе. Задача так задача. Над ней давай поломай голову.

Веточка, когда я вернулся, конечно же, не спала.

Я передал ей наш разговор с Рослым, и она, помолчав, сказала с уверенностью:

— Он хочет, чтобы Волхв ушел от нас. Почему-то ему на руку его уход. Он хочет, хочет, только, конечно же, скрывает это.

— Ты слишком категорична. — Что-то в поведении Рослого заставляло меня тоже подозревать его в подобном желании, но зачем ему хотеть этого? И, подозревая, я не верил своему подозрению. — Просто он внутренне уже согласился на его уход.

— Согласился, конечно, — упрямо сказал в кромешной тьме над моим ухом голос Веточки. — Еще и потому, что рад его просьбе.

— Ну ладно, ладно, — проговорил я примирительно, — вот я еще сам потолкую с Волхвом, и будет видно.

Но с Волхвом назавтра никакого разговора не получилось.

И в самом деле, он был словно бы не в себе, он не слышал ничего, что я говорил ему, и на любые мои слова отвечал, как заведенный, одно и то же:

— Но ребята не против! Ребята не против! Даже Рослый! Рослый меня понимает. Почему ты не понимаешь? Только ты, один ты! Почему?!

В голосе его была истерическая беспомощная горячечность, казалось, сейчас, в следующее мгновение он разрыдается, и такой конечной, последней усталостью были налиты его блеклые, потерявшие цвет глаза, что не знай я его прежде, никогда бы не смог представить, как они могут быть ярки, как жарко, как зажигающе могут гореть.

— Бог тебе судья, — только в конце концов и оставалось мне сказать ему.

Никаких проводов Волхву перед его ночным уходом через канал мы не устраивали. Я лично попрощался с ним еще утром, столкнувшись в диспетчерской по пути в забой. «Всего тебе», — сказал я, подавая руку. Он было подался ко мне обняться, я отстранился. «Напрасно ты так», — сказал он. Но я ему не стал даже отвечать. И прожил весь день до ночи как обычно — работая на своем участке в забое, и по-обычному провел вечер — занимаясь в школьном гимнастическом зале с прикрепленной ко мне группой мальчиков. Канал был не моей заботой, хлопоты, связанные с подготовкой его к работе, меня не касались. Канал был заботой Рослого.

3

То, что ждало меня наутро, не могло мне присниться ни в каком самом кошмарном сне.

Оказывается, Рослый чувствовал себя вчера нездоровым, попросил Магистра заменить его на приеме посылок, в том числе и проводить наверх Волхва, и Магистр, воспользовавшись этим, пытался уйти вместе с Волхвом.

— Не может быть, — не поверил я Рослому, когда он, не в силах сдержаться, матерясь через слово, рассказал мне о Магистре.

— Не может только мужик родить, ясно?! — закричал в ответ Рослый. — А он едва не ушел! Случайность только и помешала! Он уже наверх поднялся, ему только из корзины на землю ступить осталось! Парнишка, помощник, что внизу был, раззява попался. Тормоза не зажал, а противовес уже снимать стал. Скинул два блока — корзина и ухни вниз. Так наш друг и полетел: одной ногой внутри, другой наружу, всю пятку, пока летел, о стенки размолотило!

— Да что ты?! — непроизвольно воскликнул я. — Но жив он?

— Жив, слава богу.

Как-то странно произнес Рослый это свое «слава богу», как-то плотоядно вышло у него это, и я внимательно вгляделся в его лицо.

— Ты что, крови жаждешь?

— Жажду я! — Рослый сплюнул. — Лихо ты выражаешься. Вампиром меня назови еще! Он нашему Делу изменил. Он изменник! А изменника, ты считаешь, нужно прощать?

— Но Волхв ведь тогда тоже изменник?

— Волхва мы отпустили! Он с согласия! И он старый, ему помирать, а Магистр в самом соку, ему пахать да пахать! Вот разница, ясно?!

Я был ошеломлен этой новостью о Магистре, раздавлен напором Рослого, и голова у меня ничего не соображала.

— И чего же ты хочешь? — тупо спросил я.

— Пусть отвечает за то, что сделал. Перед всем народом пусть отвечает. Пусть народ выскажется, что он думает по этому поводу. Пусть назначит наказание.

— Где он сейчас?

— Кто? Магистр? — переспросил Рослый. — В медблоке, конечно, где еще.

— Увидеться я могу с ним?

— Ну нет! — Тон Рослого сделался жесток и враждебен. — Кто-кто, а ты с ним не встретишься до самого суда. Вы — «Вольтовы братья», у вас свои, давние отношения, ты не можешь быть объективен. На суде толкуй с ним сколько угодно, а до суда — нет!

Я взъярился. Я уже не впервые отмечал для себя, что Рослый стал в последнюю пору непонятно подозрителен, недоверчив, но в данном-то случае с какой стати он в чем-то подозревает меня, почему вообще чувствует право на это?!

— А ты не находишь, что ты меня оскорбляешь? — слыша, до чего накален мой голос, едва управляя собой, сказал я. — Не находишь, что я могу встретиться с Магистром и без твоего соизволения? Если ты так, то ведь и я могу эдак. Начхать на твое мнение — и пройти к нему.

Рослый отрицательно качнул головой.

— Начхать можешь, а пройти не пройдешь. Тебя не пропустят.

— Не пропустят? — Я изумился.

— Да. Я выставил охрану.

— Охрану? — Я все больше изумлялся.

— Охрану, — подтвердил Рослый. — И подчиняется она только мне. А твое слово для нее — пшик, и не больше.

От моей ярости ничего не осталось. Изумление вытеснило ее напрочь. Он что, захватывал власть, что ли?

— Да чего ты хочешь все-таки? — спросил я.

— Того же, надеюсь, чего и ты. Довести наше Дело до конца. — Рослый не просто выделил «Дело» голосом, не просто подчеркнул его, оно прозвучало у него так, словно бы он покачал его голосом, словно бы он баюкал младенца.

— Так при чем здесь суд над Магистром?

— При том! При том, что мы на краю катастрофы. Люди устали. У людей энтузиазм кончился! Ясно? Три

попытки побега за последние полгода — это не знак? Душеспасительные беседы с ними провели, в медблоке на психотерапии подержали, и думаешь, все нормально? Ничего не нормально. А завтра они не поодиночке рванут, а сразу сто человек. А потом еще сто, да еще двести! Высокий у нас моральный дух воцарится? А как все побегут, тогда что? А побегут, побегут, к тому дело идет. Вы же слюнтяи все, с Волхвом вместе, вы палец о палец не ударили, чтобы правде в глаза взглянуть, я один решился. У меня целый штат осведомителей работает, ясно? Я знаю, к чему дело идет! И контрмеры мною уже продуманы.

Рослый не прокричал мне все это, как можно было бы ожидать от него, он словно бы объяснял мне ситуацию, просто втолковывал очевидное и, обругав меня — «вы же слюнтяи все!» — тут же как бы и простил, отступился извинительно: ну уж ладно, впрочем, какой есть.

А я ощущал себя будто парализованным, изумление, охватившее меня, уже нельзя даже было бы назвать изумлением, это был какой-то столбняк, оцепенение какое-то, полная душевная разбитость.

Но все же я нашел в себе силы повторить свой вопрос:

— Так, и при чем здесь суд над Магистром?

Во взгляде Рослого, каким он смотрел на меня, блестела пустая, металлическая жесткость. Но враждебности в этой жесткости теперь не было.

— Да при том, чтоб видели, что спуску отныне не будет никому. Даже ветеранам движения, ясно? Одному позволили, а другого — к позорному столбу! Мы должны опустить шлагбаум. Закрыть занавес — и чтоб ни щелки. Все, больше никаких «каналов». Абсолютно никаких сношений с землей. Иного выхода у нас нет. Чтобы все знали: поднимемся, только когда закончим. Ясно? Я все продумал. Без бумаги обойдемся. Жили шумеры с глиняными табличками? Сможем и мы. Для школы

понаделаем грифельных досок. И без соли обойдемся. Я получил надежную консультацию. Оказывается, мы расходуем ее в десять-пятнадцать раз больше, чем требуется нашему организму! Для вкуса расходуем! Такое расточительство, что нет слов! Вот и будем потреблять ее в пятнадцать раз меньше. Сколько нужно. А вкусовые пристрастия — дело искоренимое. Привыкнем. Запаса, что есть, хватит нам лет на тридцать. С чем сложнее, это с лекарствами. Их ничем не заменишь, для вкуса их не пьют. Но будем обходиться и без них, теми, что делаем сами. Смертность, разумеется, подскочит, особенно детская, но придется пойти на подобную жертву. Ради Дела.

Он снова произнес это слово так, будто баюкал младенца. И я в этот миг подумал почему-то о том, что он, как и в годы молодости, по-прежнему одинок; как одиноки были Волхв и покойный Декан. Но ни Декана, ни Волхва уже нет...

— Может быть, ты прав, — сказал я. — Мне надо обдумать твои предложения. Очень может быть. Но не надо устраивать над Магистром никакого суда. В этом я уверен.

— А я уверен, что надо! Мы не имеем права ничего утаивать от народа. И как народ решит поступить с ним, так и будет. Ясно? Народная воля — высший судья, ты согласен?

Вопрос был довольно риторический, и я пробормотал:

— Пожалуй.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал Рослый. — И надеюсь, ты будешь вместе со всем народом. Я вообще надеюсь на тебя. Надеюсь, что ты будешь со мной. Во всем и до конца.

А, вот он почему был так откровенен со мной, вот почему так подробно все объяснял. Он хотел, чтобы я был его союзником. И ухода Волхва — правильно почуяла Веточка — он тоже хотел, оно ему было на руку, это Волхвово желание, весьма на руку. Магистра же

сейчас он хотел скомпрометировать как своего возможного противника и тем самым просто-напросто вывести его из игры. А мне, значит, была уготована роль союзника...

— Я ни с кем, я с нашим Делом, — сказал я.

— Ну и прекрасно, — отозвался Рослый. Вскинул над головой руку и помахал.

И только тут я заметил. Разговор наш происходил в диспетчерской, довольно большом, ярко освещенном сильными лампами искусственном зале, всегда в эту пору людном — как было нынче, — и вдруг вокруг нас никого не стало. Было полно народу, когда мы начали разговор, и никого не стало, все отдалились от нас, оставив нас для разговора один на один. И лишь сейчас, по знаку Рослого, двинулись, зашумев, на свои прежние места, как, видимо, по какому-то другому, не замеченному мной знаку, оставили нас одних.

Выходит, Рослый действительно осуществлял захват власти. Для того, чтобы узурпировать власть, нужен м о м е н т, стечение обстоятельств, а к этому моменту — группа надежных, беспрекословно подчиняющихся тебе людей, и, судя по всему, такая группа была им создана, а момент настал. Декан умер, Волхв покинул нас, Магистр совершил поступок, лишавший его права стоять во главе нашего Дела, а я один в счет не шел.

— И когда же суд? — спросил я Рослого.

— Когда, по вашим расчетам, он оправится? — найдя глазами в окружавшей нас толпе врача, спросил Рослый.

— Через недельку, я полагаю, — просунувшись вперед, с подобострастием проговорил врач.

Это был тот самый врач, что устроил истерику у постели умирающего Декана. А делать ему здесь, в диспетчерской, в этот час, отметил я про себя, было абсолютно нечего.

— Ну вот, через недельку, — вновь поворачиваясь ко мне, ответил Рослый.

4

Есть выражение: «как во сне».

Я прожил эту неделю до суда впрямь будто во сне. Меня мучили наяву такие кошмары, какие никогда и не снились. Мне чудилось, что это будут судить меня, а не Магистра, мне уже казалось, что это я, а не Магистр, пытался убежать на землю, оставляя здесь, под землей, свою семью... о, ведь я сам, сам был рядом с этим желанием, на волос от него! Мне вспоминалось, как, хороня Декана, я захлебывался — невидимо для всех! — в постыдном, щенячьем чувстве усталости и ожесточения, и я был не в состоянии осуждать Магистра, я не ощущал в себе ненависти к нему или презрения, не ощущал его изменником, во мне не было к нему ничего, кроме жалости.

И вот он настал, день суда. Посланец от Рослого известил меня накануне, что суд состоится не в Главном зале, как предполагалось вначале, а прямо на производствах.

— Как это? На всех сразу? — недоуменно спросил я посланца.

— Как это — на всех сразу? — усмешливо ответил он мне. «Дурной вы, что ли!» — услышал я в его голосе. — Начнем на одном, продолжим на другом, переберемся на третье... Чтобы суд к людям пришел, а не они в суд. Ясно?

Должно быть, он не заметил, но он ответил мне совершенно в манере Рослого — повторил буквально все его интонации и даже добавил в конце «ясно?».

Первое заседание началось в сталеплавильном цехе. С шумом работали вентиляторные установки, вытягивая из помещения дымный смрад, утробно гудела электродуга конвертора, адски играющего красными отсветами расплавленной стали на колпаке вытяжки, а столпившийся напротив судейского стола, на некотором расстоянии от него, народ то и дело поглядывал в сторону

этого гигантского футерованного котла — скоро должна была начаться разливка стали, и все ждали сигнала занять свои рабочие места.

Когда ввели Магистра, я не заметил. Я только увидел, что он, поддерживаемый под руки двумя людьми, выставив вперед загипсованную ногу, с черным, измятым, осунувшимся лицом усаживается на стул сбоку судейского стола, и я бросился к нему из глубины зрительской толпы, растолкав ее в один миг.

— Спокойно! — выступил откуда-то со стороны человек, загораживая мне путь. — Вступать в контакт с подсудимым запрещено. Только с разрешения суда.

Магистр тоже рванулся было ко мне, вскочив со стула, но загипсованная нога мешала ему, да он и не сделал ни шага — под руки его тут же подхватили его сопровождающие, и дорогу ему, точно так же, как мне, заступил вынырнувший неизвестно откуда еще один человек.

Мы обменялись с Магистром взглядами — глаза у него были потухшие, покорные, измученные, — и я вернулся в толпу, а он сел обратно на свое место.

Рослого нигде видно не было. Может быть, откуда-нибудь издалека он и наблюдал за судом, но ни за самим судейским столом, ни в зрительской толпе он не присутствовал.

Магистр признался во всем сразу, мгновенно, едва лишь начался суд. Да, хотел сбежать, ответил он. Специально попросился нынче осуществлять канал, чтобы сбежать. Если бы удалось сбежать, то никогда бы уже, естественно, не вернулся...

Из-за шума в цехе слышно было плохо, и всем — и судьям, и Магистру, — чтобы слова их были слышны, приходилось кричать. И еще было невыносимо жарко, все обливались потом, и у кого не нашлось платков, давно уже почитавшихся у нас здесь великой роскошью, вытирали лица подолами рубах и рукавами.

Я поднял руку.

— У меня вопрос.

— Вообще-то не положено, — ответил председательствующий, — но вам можно. Задавайте.

— Насколько мне известно, — прокричал я, обращаясь к Магистру, — тебя попросили подменить коекого заболевшего. Не ты сам захотел того, а тебя попросили.

— Нет, это я сам захотел, — бесцветным голосом, с механической заведенностью громко ответил Магистр.

— Если сам, то мне интересно, чем ты мотивировал свою просьбу? Ведь обычно связь осуществляет...

— Вам отвечено! — резко прервал меня председательствующий. — Несущественные вопросы судом не принимаются. — И обратился к Магистру: — Как бы вы сами квалифицировали свой поступок?

— Измена, — тут же, без всякой паузы отозвался Магистр.

— Та-ак! — произнес председательствующий, собираясь, судя по всему, подводить какой-то итог, и вдруг спохватился: — Да! Давайте выслушаем свидетеля. У подсудимого во время производившихся работ был помощник, и это благодаря ему не удался побег!

Парнишке-свидетелю было лет тринадцать, чуть-чуть побольше, чем моему старшему. Видимо, один из наших первенцев, рожденных здесь, зачатый, незнаемо для своих родителей, еще на земле. Но с какой это стати он оказался в помощниках у Магистра? Детей его возраста мы уже использовали на различных работах, но только на легких, в коллективной форме и, конечно, не ночью!

Четко и внятно — как в армии согласно уставу, вспомнилось мне из земной жизни, полагалось отвечать командиру, понят ли отданный приказ, — парнишка ответил на все заданные вопросы, рассказав о том, о чем я уже знал: как корзина с Волхвом и Магистром ушла вверх и он, не дождавшись почему-то сверху сигнала о спуске, начал скидывать с лебедки бетонные блоки противовесов и только скинул два, корзина полетела вниз...

— У меня вопрос — снова поднял я руку, когда допрос парнишки был завершен.

— Ну, задавайте! — снова разрешил председательствующий.

— У меня вопрос к свидетелю. Меня интересует, как он оказался на индивидуальной работе да еще в ночное время?

— Ответьте, свидетель, — сказал председательствующий.

— Я являюсь членом Детского комитета добровольной помощи Делу, — все так же четко и внятно ответил парнишка, чего нельзя было сказать о сути его ответа.

— Есть такой комитет? — удивился я. — И что из того, что вы состоите его членом?

— Вам отвечено! — не давая парнишке открыть рта, прокричал председательствующий. — Несущественные вопросы судом не принимаются. Идите, свидетель, — отпустил он парнишку. И обратился к зрительской толпе: — Случай, который мы сегодня рассматриваем, особый случай. Подсудимый являлся до самого последнего времени одним из наших руководителей. Мы долго не придавали попыткам и случаям побега должного значения. И зря не придавали! Вы слышали, подсудимый сам назвал себя изменником. Его поступки и вправду есть измена! А чего заслуживает изменник? Во все века заслуживал?!

— Черт! — проговорил рядом со мной голос. Я глянул — это был сменный начальник конвертора, я знал его. — Уже время сталь выпускать!

— Ну, еще погодим немного, — ответил ему его сосед.

— Так чего заслуживает изменник? — повторно прокричал председательствующий. — Нас ваше мнение, мнение трудового народа интересует!

И из толпы, до сих пор безучастной к происходящему, совершенно неожиданно для всех ему выкрикнули:

— Смертной казни!

И тотчас же все всколыхнулись:

— Да уж так-то зачем!

— Других прощали!

— Других лечили!

— А он что, сорваться не мог, если руководитель?

Председательствующий поднял руку и держал ее так.

— Нет! — сказал он жестко и решительно. — Этого мы больше терпеть не можем. Не будем терпеть! Кто это там простить хочет?!

Теперь ему ответили полным молчанием. Словно бы какая-то тяжелая железная волна прокатилась в воздухе от его слов и вбила всем языки в рот.

И в этой человеческой тишине, перекрывая шум работающих цеховых механизмов, тот же голос, что прежде, крикнул:

— К смертной казни его, изменника!

И теперь толпа не отреагировала на этот выклик ни единым словом.

Только спустя мгновение начальник конвертора рядом со мной закричал:

— У меня разливка начинается! Мы долго еще будем, нет?

— Все, все! — тотчас вскинулся председательствующий. — Мнение вашего производства ясно. Все свободны!

Двое других членов суда не вымолвили с самого начала судебного заседания до самого конца ни звука. Они просидели здесь кем-то вроде одушевленных манекенов, в необходимый миг поворачивающих голову в сторону говорящего, делающих строгий, неподкупный вид, что-то там у себя записывающих...

Всех трех я прекрасно знал. Председательствующий был спортсменом в прошлом и вел у нас в школе уроки физкультуры, эти двое, как и я, были недоучившими-

ся студентами, только горняками, и работали на проходке штолен. И все трое за всю пору, что мы находились здесь, никогда ничем не выделялись: ни особой какой-то энергией, ни поступками — были, в общем, как все.

— Вы, если желаете, можете пойти с нами, — подозвав меня, разрешил мне бывший спортсмен. — Мы сейчас на старую электростанцию.

Я, разумеется, пошел.

На электростанции судебное заседание проходило в пультовой, было тихо, спокойно, и даже хватило на всех стульев и табуретов, никому не пришлось стоять, но в остальном все повторилось, как в сталеплавильном цехе. Магистр признал свою вину, рассказал в подробностях, как происходило дело, назвал себя изменником; я снова попробовал было задать какие-то вопросы, и снова председательствующий обошелся со мной прежним манером; парнишка-свидетель поведал, как получилось, что он не дал совершить подсудимому побег, только на этот раз бывший спортсмен не забыл о нем и дал ему слово в более подобающем месте. И еще было одно отличие от процесса у сталеплавильщиков: «Металлурги предложили смертную казнь, — объявил бывший спортсмен, окидывая взглядом собравшихся людей. — А как считаете вы?» И все, в остальном не было никаких отличий.

А потом то же самое повторилось в теплицах, на химическом производстве, в конструкторском бюро у машиностроителей...

Это был какой-то бред, какой-то шутовской, дурацкий спектакль. Казалось, все ответы Магистра были заранее заготовлены, как и вопросы, что задавались ему, и он только механически, заученно долбил то, что полагалось. Во всем происходящем было что-то картонно-бутафорское, невзаправдашнее, но оттого лишь еще более страшное и жуткое в своей несомненной реальности.

5

В очередное место я с судом не пошел, я бросился разыскивать Рослого. «Что это? Что происходит?! — хотелось мне заорать Рослому в лицо, схватив его за грудки. — Какой смертный приговор? С ума они сошли?! Ну, если и пытался бежать, при чем здесь смертная казнь?!»

Рослого, однако, нигде не было. Я обшарил все мыслимые и немыслимые места, где бы он мог находиться, но его нигде не было. Я обзвонил едва ли не все номера нашей телефонной станции — его не оказалось ни по одному телефону.

Я пробегал по штольням из помещения в помещение часа четыре — все безуспешно; Рослый нашел в конце концов меня сам. Умаявшись и обессилев, я притащился в столовую, чтобы съесть свой обед, порция мне была оставлена, я съел ее, собрался уходить, и тут меня позвали к телефону. Рослый поинтересовался, был ли я на суде, и не успел я раскрыть рта, чтобы сказать, что думаю об этом суде, попросил меня прийти к нему сейчас в его жилую комнату.

Мимо его комнаты, рыская по штольням, я пробегал раз десять — дверь в нее была не заперта, приоткрыта, и комната стояла пустая.

Рослый дал мне обрушить на него все мое возмущение, весь мой гнев, он терпеливо и молча выслушал все, что я кричал ему, и когда я выкричался, подошел ко мне, обнял, постоял мгновение недвижно, отстранился и посмотрел мне в глаза долгим тяжелым взглядом. Так мы обнимались, встретившись над постелью умирающего Декана. Только тогда, войдя в смертную комнату, обнял Рослого я.

— Понимаю тебя, — сказал он. — Как еще понимаю... — В нем не было ничего от обычного Рослого — взрывчатого, шумного, несдержанного, — и голос его был тих, печален и в самом деле будто светился пони-

манием. — Но что делать, что делать. Народ осатанел. Люди устали, я же говорил. Все закономерно. На меньшее, чем смертный приговор, они не согласятся. И требование их, видно, придется удовлетворить. Что делать.

— Что?! Удовлетворить? Ты с ума сошел! — закричал я. Кожу на голове мне продрало морозом. — Да это же подсадные, кто требовал!

— Подсадные? — неверяще посмотрел на меня Рослый. — Да что ты, какие подсадные? Откуда они могли взяться? Кто это их мог подсадить?

«Ты!» — хотел крикнуть я. И не решился. Не было во мне полной, окончательной уверенности. Всегда, всю жизнь нужно мне было прямое свидетельство для уверенности и крепости в действиях, прямое доказательство. А такового у меня не имелось.

— Да нет, какие подсадные, — повторил Рослый. И снова посмотрел мне в глаза — долгим, тяжелым, полным печали взглядом. — Мы перед крутым поворотом, понимаешь это? На таком повороте легко опрокинуться. Занесет — и вверх колесами. Ясно? Мы не имеем права допустить подобного. Народ требует смерти — мы должны подчиниться ему. Народ хочет жертвы. Ясно? Крови хочет. Ему разрядиться нужно. Что поделаешь, раз уж Магистр подвернулся с этим своим побегом...

Я молчал. На меня снова нашло то оцепенение, что уже схватывало меня столбняком в прошлый раз, когда Рослый, сообщив о суде над Магистром, говорил о необходимости «опустить шлагбаум». Я понимал: все предрешено, и у меня, главное, нет способа изменить что-либо, нет сил!

И все же я одолел свой столбняк.

— Это ты хочешь крови, — сказал я, с трудом ворочая языком. — Это тебе нужна жертва. Тебе!

Рослый закричал — будто оборвал в себе разом некую привязь, что держала его в состоянии тяжелой, раздавливающей печали.

— Не мне! — закричал он. — Не мне! Ясно?! Всем

нужна! И тебе тоже! — Изо рта у него белыми клочьями полетела слюна. — Большое дело только на крови крепко стоит! Кровь — как известь в кладке! Кровь виной связывает! А пуще вины нет ничего, такими нас господь создал: без вины все из хомута норовим, а с виной и тройной воз — пушинка! Ясно? Это вы, слюнтяи, ничего знать не хотели, видеть не желали, что происходит! Все на меня сейчас свалить хочешь? Не выйдет, не приму! Так вот выпало Магистру — нечего было драпать. А мог и ты подвернуться! Любой мог подвернуться! Любому могло выпасть!

Он умолк так же внезапно, как и сорвался в крик. Вытер ладонью слюну с подбородка и губ и затем обтер ладонь об одежду.

— Я тебя вот зачем видеть хотел, — сказал он наконец снова тем же тихим, тяжелым и словно бы печальным голосом. — Кто-то ведь должен будет приговор в исполнение привести. И со стороны тут никого не позовешь. При чем тут со стороны кто-то... кто-то близкий должен быть. Ну, не жена, конечно. Но очень близкий.

Чего-чего, но подобного я не ожидал никак. Он предлагал взять на себя страшную обязанность мне!

И сразу все, о чем он говорил прежде и чему я ужаснулся, померкло перед этим его предложением, заслонилось им, не оставив в мире ничего другого.

— Ты сошел с ума... — слыша, как дрожит у меня голос, и не в силах придать ему твердость, не сказал, а как-то прорычал я. — У тебя, видно, не все дома... Требуешь крови... и хочешь, чтобы убийцей стал я? А почему тогда чужими руками... почему не своими?

Рослый, казалось, ждал этих слов.

— Я на себя и без того взвалил столько, — тут же, едва дав мне умолкнуть, заговорил он, — сколько из вас никто не унес бы. Почему это я и дальше все на себя должен взваливать? Вы слюнтяйничали, я пахал, теперь давай впрягайся и ты, настала пора. Ясно? Я же сказал, все на себя одного принимать не буду. А кроме тебя,

ближе ему нет никого. Вы же — Вольтово братство! От руки, так сказать, брата... в этом свой смысл, весьма символический... да суть в общем-то вот в чем: ты и никто другой — выбора тут нет.

— Я отказываюсь, — стараясь придать голосу твердость и слыша, что он все так же дрожит, сказал я. — Отказываюсь, понял?

— Да понял, понял, — сказал Рослый. — Нелегко согласиться, конечно. За то я тебя и люблю — за верность твою, за надежность. Но сейчас ты смешиваешь две верности. Верность личным привязанностям и верность Делу. Высшую и низшую. Ясно? А ведь ты философ, вспомни, должен уметь разделять понятия. Если верность Делу для тебя высшая, ты обязан низшею поступиться. Если наоборот...

Он приостановился, я ждал, глядя на него, и он продолжил:

— Если наоборот, придется отдать под суд и тебя. Не в наказание, нет. Просто не вижу иного выхода. Или ты с нашим Делом, а значит, со мной. Или против меня, а значит, против Дела. А кто против Дела — тот враг. Ты на грани того, чтобы стать врагом Дела. Ясно?

Я слушал его и с ужасом ощущал, что в этой дикой его софистике — все правда: власть была им захвачена, узурпирована, и пойди я против него — я оказывался врагом Дела; оказывался вне Дела, вытолкнут из него, и зачем она была мне нужна, такая жизнь?

— Обдумай, как следует, все, что я тебе тут говорил, — сказал Рослый. — Обдумай, обдумай. Времени у тебя — до завтрашнего дня. Воля народа уже ясна. Объявим ее нынче вечером по трансляции, а завтра в Главном зале приведем в исполнение. Ты не пугайся, никаких секир. Все очень просто, как в Америке. Вполне гуманно. Электрический стул. Высокое напряжение. Только замкнуть сеть рубильником.

Искушение ударить его было так велико, что от сдерживаемого желания у меня заломило в висках. Ну, уда-

рил бы я его, и что бы от этого изменилось? Власть была им захвачена, узурпирована, и у меня оставался только один путь: служить нашему Делу и дальше...

В дверь комнаты постучали, и она приоткрылась. На пороге стоял один из тех малоизвестных мне людей, что сегодня во время суда, будто из воздуха возникая и в нем же исчезая, бдительно следили за поддержанием некоего, им лишь одним известного порядка.

— Что такое? — недовольно спросил Рослый.

Однако он подошел к человеку, перемолвился с ним несколькими словами, и человек исчез. Рослый плотно закрыл за ним дверь и подпер ее спиной.

— Мне, к сожалению, — сказал он, — пора уходить. Но я думаю, тебе в принципе все понятно. И надеюсь, что Дело для тебя превыше всего. Ведь я знаю, что превыше всего. Вот за это я тебя, собственно, и люблю. Для меня самого — ничего в жизни, кроме нашего Дела. Через что б ни пройти, но довести его до конца!

Он много раз за нынешний наш разговор произнес это слово — «Дело», и всякий раз оно звучало у него так, словно он баюкал у себя на руках младенца.

— До утра. Утром свяжусь! — распахнул Рослый передо мной дверь и, выпуская, приобнял на ходу.

6

Я шел по освещенной дневной штольне к себе в комнату, громко хрустя гравием, и у меня было одно желание: удавиться. Прийти к себе, запереться и удавиться.

Велик, однако, инстинкт жизни. Пойди-ка сломи его, как ни велико твое желание уйти из нее. Найдя веревку и связав петлю, я накинул ее себе на шею, потянул вверх... но, как только дыхание перехватило, тут же судорожным движением распустил петлю...

Ночью, в постели, в кромешной, глухой тьме я рассказал Веточке обо всем. Не потому, что не мог сдер-

жаться. Пожалуй бы, смог. Но дело касалось ее судьбы в такой же степени, как и моей. Повседневные заботы нашей совместной жизни были у нас разные, а судьба — одна. И что бы ни произошло со мной, тут же это с тою же силой непреложно должно было отозваться на ней.

Она плакала, — какая женщина не даст слезам воли при подобных известиях? Она понуждала меня вновь и вновь, всю бессонную ночь, обладать ею, — был ли то инстинкт жалости и сострадания или же только самосохранения? Впрочем, разумеется, это неважно. Я лег с нею в постель студенистой амебой с растекшейся волей, не годным ни на что, кроме как желать себе смерти, а поднялся крепким, уверенным в своих силах, собранным в кулак, готовым вынести все, что должно.

Дожидаться звонка Рослого я не стал, позвонил сам. Он еще спал, пробурчал сонным голосом, что я понадоблюсь ему позже, и собрался положить трубку, но я заставил его говорить со мной. «Это еще зачем?!» — вмиг проснувшись, спросил он, когда я сказал, что должен встретиться с Магистром. И, однако, ему пришлось уступить мне и дать разрешение на встречу; причем не через час, не через два, а сейчас, немедленно, как того хотел я.

Магистра содержали все так же в медблоке, и в камеру его была превращена та самая палата, в которой умер Декан. Он не лежал на кровати, не сидел на табурете — единственной мебели, оставшейся от всей обстановки палаты, — он стоял на четвереньках в углу, уткнувшись головой в сретенье стен и пола, и на звук открывшейся двери, что впустила меня, не шелохнулся.

Я сел на табурет, стоявший посередине комнаты, посидел какое-то время, Магистр все продолжал стоять без движения, не обращая внимания на то, что там у него за спиной, и я позвал:

— Э-эй!..

Будто рябь прошла по его телу. Дернулись ноги — и толстая белая кукла загипсованной ноги даже при-

стукнула о пол, — дернулся торчащий зад, дернулись плечи, руки, голова, и он медленно, переступив коленями, повернулся ко мне лицом, и боже, что случилось с этим тусклым, мертвым, тоже словно бы загипсованным лицом, — оно так и полыхнуло светом и счастьем!

— Фило-ософ! — протяжно сказал он. — Это ты!

Магистр заперехватывал руками по стене, чтобы подняться, закукленная нога мешала, и я вскочил, помог ему подняться, и, поднявшись, он крепко обхватил меня руками, прижался головой к моему плечу и затрясся в рыданиях.

— Фил-о-ософ! — говорил он скачущим голосом сквозь рыдания. — Фил-о-соф!.. Фил-о-соф!..

Я молчал и только поддерживал его, чтобы ему не было слишком тяжело стоять на одной ноге.

Потом, длинно вздохнув, Магистр поднял голову, отстранился и, приступив на белую гипсовую ногу, шагнул к кровати и бухнулся на нее.

— Слушай, Философ, — сказал он, вытирая ладонями мокрое лицо и обшоркивая ладони об одежду, — это все правда, да? Меня казнят?

Я кивнул.

Его снова затрясло. Но теперь рыдания продолжались не очень долго.

— Бред, — сказал он, вновь вытерев лицо. — Бред. Неужели так нужно? Рослый говорит, что так нужно. Ты тоже считаешь, что так нужно?

Я снова кивнул.

— Но почему это должен быть я? Почему я?

Ничего в нем не осталось от прежнего Магистра, холодно-иронического, скупого на слова и жесты. Сейчас это был какой-то горячечный, трясущийся комок плоти.

— Так тебе выпало, — сказал наконец и я.

— Что, что выпало? — закричал он. — Почему мне?

— Зачем ты хотел бежать? — вопросом ответил ему я.

— Бежать? Я? — Магистр хохотнул быстрым, дико-

ватым смешком. — Никуда я не хотел бежать. Я провожал Волхва.

— Но ведь зачем-то ты стал вылезать из корзины?

— А так мне было велено. Выйти и обнять на прощание. Не удалось вот выйти.

— Но почему ты признался на суде в попытке побега?

— Но ведь так нужно?

В голосе Магистра были издевка, неверие и надежда — все вместе, все в едином, трепещущем сгустке.

Я опять кивнул. Ответить ему на этот вопрос утвердительно было все же сверх моих сил.

— У-у... — дикое, утробное, не звуком, а каким-то хрипом вываливалось из Магистра. — У-уу...

— А я тебя казню, — сказал я.

Он, видимо, или не услышал меня, или не понял. Сидел, ухватившись обеими руками за спинку кровати, и из него лез этот урчащий, пузырящийся хрип. «У-у-уу...»

— А казнить тебя буду я, — повторил я громче и внятнее, наклонясь к нему.

Магистр услышал. И понял. Хрип прекратился, он смотрел, скособочась, на меня и вдруг стал вставать, потянулся ко мне руками, и мне показалось, он хочет схватить меня за шею, — я отпрянул.

— Фило-ософ!.. — с прежней протяжностью произнес Магистр, и из глаз у него снова брызнуло, но это были не рыдания, это были какие-то просветленные, чуть ли не счастливые слезы. — Фи-ло-ософ!.. Как хорошо, что это будешь ты... как хорошо! Я боялся, что какой-нибудь... а от тебя — это хорошо, это мне легче... Я буду думать: вот-вот, вот сейчас... и буду знать, что это ты, мне это будет приятно...

Я вышел от него с чувством какого-то мистического страха. Я должен был увидеться с ним и сообщить, что именно я буду приводить приговор в исполнение, — для того, чтобы быть честным перед собой, чтобы не прятать трусливо и гадко голову в песок; и, конечно же, я ожи-

дал от нашего разговора всего, чего угодно ожидал, но вот того, что он станет благодарить меня за взятую на себя страшную обязанность, — этого я не мог себе и вообразить...

И, однако же, я сделал свое дело, как положено. За ночь в Главном зале был сооружен для казни специальный помост, на помосте, чтобы скрыть от взглядов тысячной толпы предсмертные конвульсии Магистра, установили небольшую кабинку с лежаком внутри, и его, живого, провели туда, укрыли от взглядов, а я со своим смертельным рубильником, укрепленным на торчащей над помостом стойке, стоял, согласно замыслу Рослого, у всех на виду; стоял и ждал знака. И когда мне дали его, я, ни мгновения не медля, рванул ручку рубильника вниз и вжал заискрившие железные пластины в тесные щели контактов до упора.

7

С этого дня началась новая эра нашей жизни. Отныне каждый знал, что ему жить здесь, под землей, еще годы и годы — долгие годы, и скорее всего, здесь и умереть, так и не увидев земного света. Отныне каждый знал, что его жизнь больше не принадлежит ему. Что она безвозмездно взята у него для Дела и будет отдана ему лишь тогда, когда заблистают станции мрамором отделки, погонят по туннелям воздушную волну перед собой скорые грохочущие поезда и вытянутся наклонно, чуть-чуть лишь не дойдя до земной поверхности, бегучие ступеньки эскалаторов.

Большого терпения и великого смирения требует такая жизнь. Не всякому человеку дано обуздать свою душу, — как и предвидел Рослый, то тут, то там стали возникать очаги возможных бунтов. Но мы были готовы к тому, везде, на каждом производстве работали осведомители, и в результате не вспыхнуло ни одного бунта, все очаги их были своевременно затоптаны.

Вполне возможно, помогло нам тут в немалой степени и то обстоятельство, что мера наказания была у нас только одна. Роскошь содержать тюрьму мы себе не могли позволить.

Впрочем, угроза бунта оказалась не самым страшным, что ждало нас впереди. Год от году, все быстрее, все стремительнее, падала у нас продуктивность труда, его качество, и к какой системе поощрений мы ни прибегали, ничего не помогало. То, что в первые годы делалось за неделю, теперь растягивалось на месяц, там, где надеялись на свежие идеи и решения, мы получали лишь бесчисленные вариации уже знакомого. Все это отодвигало сроки завершения строительства еще дальше, еще в большую неизвестность, но в конце концов мы были вынуждены принять происходящее как неизбежность.

Несколько раз, особенно в первые годы после того, как мы отрезали себя от земли окончательно, оттуда предпринимались попытки пробиться к нам. Но мы активно пресекали их, со временем эти попытки становились все реже и потом прекратились совсем.

У поколения, рожденного здесь, под землей, к которому принадлежали и мои сыновья, рождались и подрастали теперь свои дети. Они были уже далеки от истоков нашего Дела, идеалы, что подвигли нас много лет назад к уходу под землю, уже не ощущались ими с той остротой и силой, с какой это было дано ощущать нашим детям, и пришлось продумать специальную пропагандистскую программу, создать для ее практического воплощения целый пропагандистский аппарат, — дабы донести до их душ наши идеи, пропитать ими, выжечь скепсис, дабы в свой час эти нынешние ребятишки влились в наше общее Дело со всей истовостью, с какой служили мы.

Как бывшему студенту-философу, руководить всей этой пропагандистской работой выпало мне. Я был счастлив, что на склоне дней мне выпало заниматься

чем-то вроде истории нашего движения и его осмыслением. Я находил в этом занятии какое-то неведомое мне никогда прежде неизъяснимое наслаждение. Когда мы завершим строительство и выйдем на землю, говорил я, беседуя с молодежью, нас встретят как героев. Люди будут восхищаться вами, ваши сверстники будут завидовать вам. Вас ждет слава, радость поклонения, вы будете как боги!

Я говорил так, и, право же, я не лукавил. Ведь так оно и должно было случиться. Не в человеческой природе ценить бескорыстие, но если оно облекается в совершенно материальный результат — как в случае с нами, — люди способны испытывать благодарность.

Впрочем, лично я сам не очень-то много думал о земле. Я забыл ее. Во мне почти не осталось воспоминаний о земной жизни, она высочилась из моей памяти — капля за каплей, капля за каплей исчезала из нее, будто я никогда и не жил ею, будто я здесь, под землей, как мои дети с внуками, и родился, и вырос... и никогда больше не посещало меня то страшное, гнетущее отчаяние, что в давние времена, в день похорон Декана, трясло меня, будто током. Я уже и сомневался порой: да было ли оно, то отчаяние, вправду ли все происходило так, как мне помнится? А может быть, я простонапросто выдумал все это, а выдумав, помнил выдумку?..

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Выходить наверх мы решили в том самом месте, где в свою пору спускались под землю. Место было не из лучших, предпочтительнее было бы другое — на площади перед Домом власти, где по проекту также

должна была находиться станция, и если даже власть перебралась оттуда в какой-нибудь другой дом, все равно это оставался самый центр города. Но при проходке наклонного эскалаторного туннеля, когда подошли к подповерхностному слою площади, мы наткнулись на сваи каких-то фундаментов и оказались вынуждены остановиться, доведя эскалаторную лестницу лишь до свайной отметки. Или же мы ошиблись и вывели туннель не туда, куда следовало, или же там, наверху, на нужном нам месте поставили какое-то здание. Подобные фундаментные сваи встретились нам при завершении и многих других эскалаторных туннелей, что было в общем-то несколько странно. План будущего метро у властей имелся, где будут выходы станций на поверхность, они прекрасно знали и не должны были застраивать эти участки. Или же там, наверху, построили здания таким образом, чтобы вход в метро осуществлялся через них? Но снизу, не видя самих зданий, вести туннели дальше было невозможно.

В месте же нашего давнего спуска стояла станция, построенная еще нами самими, тут ничего другого наверняка не могли поставить, и мы могли выйти, не причинив городу никакого вреда.

Метро было готово к эксплуатации до последнего винтика. Мы спроектировали и сделали поезда на электрической тяге, и в последнюю пору, пока велись всякие доводочные работы, уже не ходили к местам работ пешком и не ездили на дрезинах, как бывало, а с желанным грохотом и шумом неслись в светлых просторных вагонах — аж захватывало дух. Станции были отделаны мрамором и гранитом, украшены чеканкой и расписаны фресками. Каждую выполнили в своем стиле, ни одна не была похожа на другую, — о чем мы вовсе и не мечтали раньше; но мало ли о чем не мечтали, жизнь скорректировала.

Чтобы выйти наверх, нам нужно было разрушить бетонную пробку, которой когда-то мы намертво отгоро-

дились от земли. Под ее литой мощной плитой мы натянули синтетическую пленку особой прочности, с отверстием посередине, и вдоль эскалатора пустили вниз отводной закрытый рукав.

Загрохотал разом десяток отбойных молотков, подпрыгивая, поскакали к отверстию в пластиковой воронке первые куски отколотого бетона и побежали с шорохом по рукаву вниз. Работать отбойщикам приходилось со специальных люлек, лежа, и чтобы работа шла быстро, без задержек, каждые десять минут они сменялись. У меня тоже горело внести свою лепту в раскупорку нашего подземелья, отбить свой, личный кусок бетонной пробки, и, несмотря на возраст, я тоже подержал в руках молоток, налегая на его колотящееся железное тело изо всех сил, и, как ни устал, выдержал все десять минут своей смены.

— А что, старичок, ты у меня еще вполне! — хлопнул меня по плечу, обнял, прижал к себе сын, когда я, покачиваясь, выбрался изнутри пластиковой воронки на лестницу эскалатора.

— А ты думал! — тяжело дыша, со счастливой хвастливостью, ответно обнимая его, сказал я.

Последние годы, после смерти Рослого, он стал во главе нашего Дела.

Это был мой младший сын. Старший умер от воспаления легких уже много лет назад, только-только успев родить нам с Веточкой внучку. Впрочем, ни Веточки, ни внучки тоже не было в живых, единственный, кто у меня остался, — вот этот мой сын. Странно, но как у Рослого не было семьи, так не обзавелся семьей и мой младший. Жалко, страшно, жалко. Получалось, род мой на нем закончится...

Бежали с шебуршанием внутри отводного рукава куски бетона, потянуло запахом жженого металла — это там, внутри воронки, добрались до арматуры и стали кромсать ее прутья газорезкой.

— Давай, батя, иди туда, — подтолкнул меня сын

по лестнице вниз. — Приложился — и хватит, не мешай. Иди собирайся. Скоро двинем.

Я послушно пошел по ступеням. Сын сыном, но он глава Дела, и его приказам должно подчиняться.

Внизу, у подножия эскалаторов, стояли, вытянувшись цепочкой, несколько вагонеток. Две из них уже наполнились, как раз подошел поезд к платформе, и вагонетки покатили к нему — загрузить в вагон, чтобы после отвезти в отвал. Нам хотелось выйти на землю, оставив за собой блистающий чистотой, готовый в любое мгновение начать служить людям подземный мир, а не кучу мусора.

Платформа была полна народа, — судя по всему, на ней собралось уже все наше подземное население. Все были азартно, жарко возбуждены, то тут, то там вспыхивали и почти тотчас гасли взрывы громкого смеха.

Наконец куски раздробленного бетона стали вылетать из отводного рукава все реже, реже, зазвенел, ударившись о борт вагонетки, обрезок арматурного прута, пауза, наступившая вслед за этим, все длилась, длилась, уже переставая быть паузой, и вот сверху загудели по эскалатору шаги бегущего человека.

— Шапки вверх! — не добежав нескольких шагов до подножки, закричал посыльный, разметывая в стороны руки, будто раздернул на ходу некий занавес. — Дорога открыта!

Еще час ушел на то, чтобы привести за собой все в порядок, и исход начался.

Право идти первыми было дано «патриархам», тем, кто в свою пору, спустившись в пещерную темную полость, начинал строительство. Тридцать четыре осталось нас таких.

А всего на поверхность поднимались четыреста восемьдесят девять. Это и включая детей. Впрочем, детей у нас было теперь совсем мало. Почти не было.

Плоское полотно эскалатора превратилось в ступени,

поскрипывали мягко, почти беззвучно, где-то внутри вращающиеся колеса, по которым оно текло вверх, сухо пошоркивала, черно струясь вверх вслед за ним, резиновая лента под рукой, уплывал назад тюбинговый полукруг свода над головой — и у меня сжало сердце, оно затрепыхало в груди, вот уж верно говорят, будто птица в клетке, готовое, кажется, остановиться, и в голове загудело, будто у меня там бухнули разом пудовые колокола. Сейчас, сейчас... еще минута, полминуты, двадцать секунд, десять... и я ступлю туда, где не был чертову уйму лет, чуть ли не всю свою жизнь... я стоял там в последний раз еще совсем молодым, почти мальчишкой, а теперь я старик, лысый, высохший до кости, почти беззубый...

Ноги у меня подгибались, не шли, и, сходя с эскалатора, я чуть не упал.

Внутри, в здании станции, все осталось так, как было тогда, много лет назад, когда мы уходили отсюда под землю. Я это схватил мгновенно — едва обвел вокруг взглядом. Будто где-то в сознании у меня хранился точный слепок той давней картины и все эти годы лишь ждал своего часа, чтобы тут же проявиться.

Но было видно, что никто сюда уже много лет — долгие годы — не входил. Толстый слой окаменевшей пыли лежал на полу, — нога не оставляла на ней даже слабого отпечатка. Оконные проемы были наглухо заложены кирпичом — чего мы не делали, а высокие многорядные двери зашиты досками, и наискось через них бежали рядками остренькие жала ржавых гвоздей — изнаночные следы прибитых снаружи поперечин.

А народ снизу все прибывал, прибывал, сделалось тесно, так что стояли, прижавшись друг к другу, и, наконец, поднялись последние.

И, как капитан, оставляющий судно, самым последним поднялся мой сын.

— Приступайте! — дал он команду, шагнув с эскалатора.

Те, кому она была предназначена, знали, что они обязаны делать.

Взвыли, звонко заверещали электропилы и тотчас, одна за другой, помягчели голосами, войдя своими острыми грызущими цепями в доски дверных заплотов. Запахло опилками, жженым деревом, — и меня как ударило под дых. Голова закружилась, ноги повело, и я бы упал, если б не теснота: это были запахи земли, давно забытые, утраченные обонянием, напрочь ушедшие из памяти, — и внезапное оживление их было как воскрешение Лазаря, как истинное чудо, как если б ты заново родился...

А пилы между тем, время от времени взвизгивая от натуги, вели свою басовитую, зудяще-железную партию, пилили и пилили, все пилильщики уже стояли на стремянках, делая пропилы в верхней части заплотов, я вновь физически ощущал, как растет, разбухает, готовое затопить нас всех с головой, людское напряжение вокруг, — и это случилось. «А-а-аа!..» — закричал хрипло, животно, перекрывая вой пил, женский голос, и все тотчас всполошено заволновались, задвигались, подались единой массой на звук голоса и этой же единой массой качнулись неожиданно в сторону дверей. Загремела, упав, стремянка, взвыла, вылетев из рук пильщика, пила, грохнулась на пол, задев кого-то, и к истерическому женскому крику добавился вопль боли, но толпа сзади надавливала, притиснув передних к заплоту, и они тоже закричали. «Прекратить! Остановитесь! Все на свои места!» — услышал я, как из другого мира донесшийся, усиленный мегафоном голос сына, — и подпиленные доски заплота затрещали, не выдержав давления, и заплот рухнул наружу, увлекши за собой тех, что были прижаты к нему. Но толпа, глухо ахнув, как единое живое существо, тотчас отшатнулась назад, и вылетевшие наружу, торопливо вскочив на ноги, бросились через дверной проем обратно.

«Стоять на местах! Всем стоять на местах!» — над-

рывался сын, заглушая мегафонным криком другие, продолжающие работать пилы, но теперь и без того все стояли замерев, и снова наступила тишина; только и осталось: его крик да пение пил.

А в открывшийся дверной проем черно глядело ночное небо, и в его живой белесоватой тьме мерцали, подрагивали в токе земного воздуха ярко-колючие и слабенько-точечные звезды. Белые, желтые, голубые, красноватые...

2

Я обнаружил себя лежащим на койке в белой больничной палате. Что это еще могло быть, как не больница. Только в больницах так бело красят стены, только в больницах есть эти стойки с градуированными прозрачными баллонами, из которых по прозрачной трубке катетера, воткнутого в твою вену, катится слезка физиологического раствора.

Я повернул голову и увидел окно. За окном был день, видимо, очень ветреный — быстро неслись облака по голубому небу, гнулись, раскачивались, играли обильной летней листвой деревья.

Когда же это мы вышли на землю? Нынче ночью? Или с момента выхода прошло какое-то время? И что со мной, почему я в больнице? Что было после того, как в открывшийся дверной проем я увидел звездное небо?

В палате не было никого, кроме меня. Стояла рядом еще одна кровать, но она пустовала.

Я глянул на руку с вогнанной в вену иглой катетера. Вся внутренняя сторона руки около сгиба была сплошным черно-лиловым кровоподтеком, и бинт, которым был закреплен катетер, казался на этом черно-лиловом фоне ослепительно белым. Нет, я тут обретался уже давно...

Свободной рукой я ощупал себе голову, лицо, согнул, приподнял ноги, оглядел, скинув простыню, всего

себя — ничего у меня не болело, не было на теле никаких ран, только страшная слабость, что, должно быть, естественно, если я отлежал тут уже не один день, и полный провал в памяти после картины звездного неба в дверном проеме...

— Э-ээй! — крикнул я, глядя на плотно закрытую, стеклянную в верхней части дверь палаты. — Ээ-эээй, кто-нибудь!

Сначала в дверном окне возникло юное девичье лицо, потом, через мгновение, как оно исчезло, возникло другое, тоже женское, а еще через несколько мгновений лиц там стало много, затем они все отпрянули от двери, и она распахнулсь.

— ...Вы в самом деле ничего не помните? — спросил меня доктор, — явно с солидным, основательным опытом, немолодой, скорее даже пожилой человек, и все же, пожалуй, не старше моего покойного старшего сына. — Абсолютно ничего, ни смутно, ни фрагментарно?

Мы сидели у него в ординаторской, в креслах напротив друг друга, он заварил чай в стаканах, но пил один — я пить не смог. Меня, когда я поднес стакан к губам, чуть не вырвало от одного лишь запаха чая.

Оказывается, я пролежал здесь, не в состоянии двигаться, говорить, есть, ровным счетом десять дней. И это был не обморок, потому что глаза у меня во время бодрствования оставались открыты, я спал и просыпался, но ни говорить, ни есть — ничего этого я не мог.

— Психический шок, да? — спросил я, в свою очередь, доктора.

, — По всей вероятности, — отозвался он. — Но организм у вас крепкий: сейчас вы прямо как огурчик.

Мне была приятна его похвала. В моем возрасте вовсе не грех гордиться своим здоровьем как особым достоинством.

— Но что же все-таки было после, когда мы вышли? — снова, но уже с большей настойчивостью спросил я.

— А вы твердо уверены, что вам это нужно знать?

— О боже! — Я взмахнул руками, задел свой стакан с чаем, он не упал, но подпрыгнул, и из него выплеснулось на стол. — Извините... А вы бы на моем месте разве не хотели этого знать?

Захрустев оберткой, доктор достал из пакетика марлевую салфетку, другую, третью и стал промакивать ими желтоватую лужицу на столе.

— Вам будет тяжело, — сказал он, глядя на свои руки, перекладывающие намокшие салфетки с места на место. — Хотя, наверно, я все равно должен помочь вам вернуть память. Лучше, наверно, чтоб это произошло сейчас, чем потом, когда вы отсюда выйдете...

— А можно вернуть? — уже едва не крича, спросил я.

— Нужно попробовать, — сказал он, оставляя салфетки в покое и устремляя свой твердый, глубокий взгляд на меня. — Скорее всего можно.

— Это что, гипнозом?

— Ну, конечно.

— Давайте, — сказал я, ощущая, как дрожат пальцы от возбуждения.

— Прямо сейчас?

— А почему нет?

— Ну что ж...

Он привел меня обратно в палату, велел лечь в постель и помог укрыться одеялом.

— Представьте себе, что вы прилегли отдохнуть. Расслабьте все мышцы, вам очень нужно отдохнуть. Вы испытываете блаженство, по вашему телу начинает растекаться приятное тепло...

Нет, никакого тепла по моему телу не растекалось, и никакого блаженства я не испытывал. Неоткуда было взяться ни теплу, ни блаженству. Но я с послушной старательностью слушал голос этого симпатичного мне доктора, что был годами, наверное, почти ровня моему покойному старшему сыну, я держался за его голос,

как за Ариаднину нить, что должна была вывести меня из кошмарного, темного лабиринта беспамятства, я держался за него обеими руками, боясь ненароком отпустить, держался изо всех своих сил... и вдруг потерял его, и полетел куда-то в пропасть, и замычал от пронзившего меня дикого ужаса, что не сумел удержать голос, и теперь мне не выбраться из лабиринта... однако никуда я не упал, это, оказывается, выходя под звездное ночное небо, я всего лишь споткнулся о край рухнувшего заплота, споткнулся — и сумел устоять на ногах.

Веял свежий ночной ветерок, нес в себе тысячи земных запахов — травы, купающейся в росе, увлажнившейся листвы деревьев, — а я стоял, чуть отойдя от здания станции, чтобы не мешать выходить другим, слушал шорох шагов вокруг, шуршание одежды, дробное постукивание покатившегося по асфальту камешка, задетого ногой, и мне кружило голову от непривычного, забытого вкуса чистого вольного воздуха и растягивало блаженно в невольной улыбке счастья губы: дожил, дожил, дожил!

Город спал, погруженный в тишину и темь, лишь кое-где горели в домах одинокие окна да там-сям бросали на землю с высоты тусклые конусы света уличные фонари. Похоже, все здесь осталось так, как было в пору моей молодости. Словно бы с того дня, как мы спустились под землю, и не минуло несколько десятилетий...

Внезапно я почувствовал рядом с собой сына. И услышал, что у него лязгают, как от озноба, зубы.

— Ты что? — спросил я.

— Черт знает, — ответил он мне прыгающим шепотом. — Я ведь тут никогда не был. Ничего не представляю. — Он помолчал, стоя рядом, и, нагнув голову, снял с шеи ремень мегафона. — На, — протянул он мне мегафон. — Будешь командовать парадом. Я не способен. Ну, бери, бери! — торопя меня принять мегафон, все так же шепотом закричал он и всунул тяжелый метал-

лический раструб мне в руки. — Что ли не понимаешь ничего?!

Нет, я понял. Я все понял. Что ж, в этом была даже своя логика: кто увел от мира, тот должен и привести в него.

Я повесил мегафон себе на шею и обнял сына за плечи.

— Не волнуйся. Обещаю тебе: все будет нормально.

— Ты знаешь... помнишь, какие слова нужно говорить?

— Помню, помню, — сказал я. — Не волнуйся.

Мегафон, что сын передал мне, был предназначен вовсе не для того, чтобы обуздывать потерявшую самообладание толпу. Через мегафон, когда настанет пора, должно было оповестить город о свершившемся. «Друзья! Сограждане! Это мы — те, потомки и наследники тех, кто ради вас, ради вашего счастья, защищая ваше человеческое достоинство, много лет назад спустился под землю! Сегодня мы говорим вам: «Все готово! Пользуйтесь!» Вы увидите подземный дворец, который готов принять вас и служить вам!...» — мог ли я не помнить эти слова, с которыми надлежало обратиться к собравшимся горожанам. Ведь я сам, а не кто другой, придумывал, писал и многажды раз переписывал текст обращения.

— Не волнуйся, — снова сказал я сыну. — Отдохни. Ты слишком устал за последнее время. Иди, побудь один. Расслабься. Не думай больше ни о чем. Теперь я...

Да, да, теперь я. Кто увел из мира, тот должен и привести в него. В этом была не только своя логика, но даже и символичность.

Я огляделся в окружающей нас ночной тьме, пытаясь определить, не разбрелась ли наша ветеранская группа, держится ли места, назначенного нам для сбора, в полном составе, и, пересчитав, удостоверился, что все тут. Невольное чувство гордости ненужно наполнило мне теплом грудь. Ветераны — они и есть ветераны!

Только на них сейчас и можно было положиться в полной мере. Хотя с той поры и минули десятки лет, но все-таки они, нынешние ветераны, жили на земле, ходили по ней, и в них не дребезжало сейчас того страха перед ней, что так неожиданно обнаружился в моем железном сыне и, видимо, тряс всех остальных.

Сына рядом со мной уже не было.

Придерживая мегафон рукой, я протолкался в центр нашей патриаршей группы. Ветераны сомкнулись вокруг меня тесным кружком. Я набрал полную грудь воздуха, раскрыл было рот, чтобы сообщить им о выпавшем нам последнем долге, — и голос оставил меня.

Словно коридор люминесцентного, фосфоресцирующего света возник в небе. Таким, наверное, бывает северное сияние. Но северное сияние играет сполохами, висит высоко над головой гирляндами, а это был именно коридор, люминесцентный туннель в темноте, и находился он не высоко в небе, а где-то буквально над крышами домов — затронутые им, они смутно обозначились остроугольными горбами коньков.

И по этому фосфоресцирующему световому тоннелю, ведя его с собой, двигалось бесшумно что-то темное, длинное, округлое, похожее на гигантский пенал.

— Помните! Помните! Вы все помните, до самых мельчайших подробностей! — услышал я над собой размеренный, внушающий голос и понял, что все происходящее сейчас — только мое воспоминание о нем, на самом же деле я лежу на больничной кровати, и звучащий надо мной голос — голос доктора. — Вы помните прекрасно и то, что было после, — внушал голос, и я снова судорожно ухватился за него и, ощущая в ладонях его надежную натянутую бечевую крепость, снова спустился по нему в т о т день.

— Что это было? Что это такое было? — спрашивали все лихорадочно друг у друга и требовали ответить прежде всего нас, ветеранов, но мы и сами спрашивали

о том друг друга, и никто никому не мог ничего ответить.

— А при вас это было? Может быть, было, но вы забыли? Ведь какое-то объяснение этому есть? — продолжали и продолжали спрашивать нас — и ни о чем другом уже не говорилось, все с большим и большим возбуждением, с какой-то уже даже горячечностью...

Это страх земли колотил людей. Видимо, психика требовала разрядки, сброса напряжения, и сброс этот мог произойти прямо сейчас. И, произойди он, в какие формы он бы облекся, во что вылился? Возможной ли становилась тогда наша встреча с городом, как мы ее замышляли?

Необходимо было отвлечь людей. Нужно было чем-то занять их. Но чем?

Я включил мегафон и поднес ко рту. Раздумывать было некогда.

— Старшим двадцаток проверить наличие людей, — прогремел усиленный динамиком мой голос. — Всем находиться на обусловленных местах. Ответственным подготовить транспаранты. Проводим репетицию встречи.

Это было довольно глупо — греметь из мегафона среди ночи. Мы привлекали к себе внимание раньше времени. Но ничего другого не в состоянии был придумать мой мозг. Я знал одно наверняка: нужен простой и жесткий приказ. Лишь он способен погасить возбуждение людей, а это сейчас важнее всего.

И верно: едва раздалось громыхание мегафона, тотчас все разговоры оборвались, будто их отрезало, и снова, как в самом начале, когда мы только вышли наружу, остались вокруг лишь шорох шагов, шуршание одежды, шум дыхания. Все четыреста восемьдесят девять человек торопились занять свои заранее обусловленные места, и ничего, кроме желания выполнить этот приказ наилучшим образом, в них не осталось.

Однако я даже не успел порадоваться про себя достигнутому эффекту. Минули считанные секунды, как я

отдал приказ, — и вдруг все пространство около здания станции, со всех ее четырех сторон, залило бешено ярким, пронзительным светом. Я непроизвольно, как, наверно, и все другие, закрыл глаза, и открыть их удалось далеко не сразу. Но глаза еще ничего не видели — меня осенило: прожекторы. И когда наконец, удалось чуть разомкнуть веки, стало окончательно ясно: прожекторы, да.

Их был добрый десяток. Они стояли по периметру станционного здания на расстоянии метров тридцати — сорока, мощные их лучи выжигали ночь в своем световом котле дотла, и было видно, что прожекторы установлены на специальных металлических вышках, а перед вышками тянется глухой бетонный забор с обращенным внутрь навесом из колючей проволоки.

Нас тут ждали. Мы там жили, отрезав себя от них, не подавая вестей о себе долгие годы, а они нас тут ждали.

Только не с очень-то открытым сердцем они ждали нас, если соорудили подобное заграждение. Зачем оно было им нужно, чего они боялись? Или они полагали, что мы там за эти годы потеряли человеческий облик, переродились в каких-то чудовищ?

Впрочем, что ж, может быть, на их месте мы поступили бы так же.

Я снова поднес мегафон к губам.

— Выключите прожекторы, — сказал я. — Мы поднялись к вам с важным и радостным сообщением. Свяжитесь с городскими властями и скажите, что мы ждем их представителей. Мы никуда не тронемся с наших мест, будем ждать представителей здесь. У вас нет причин для беспокойства. Выключите прожекторы, это оскорбительно для нас.

Я опустил мегафон и некоторое время стоял, ожидая ответа. Никто мне не ответил. Молчали, замерев, люди вокруг меня, молчала темнота за прожекторным кот-

лом — а может быть, там и не было ни единого человека и свет включила какая-нибудь автоматика, среагировав на звук моего голоса?

«Выключите прожекторы, мы поднялись к вам с важным и радостным сообщением...» — еще раз повторил я, и мне опять не ответили.

— Все нормально, друзья! — обращаясь к замершим в недоумении и страхе людям вокруг, сказал я в мегафон — голосом, исполненным воодушевления и бодрости. Они были стадом моим, я их пастырем, и мне выпало завершить наш исход достойно. Главное, нужно было дотянуть до рассвета, не допустить психоза, а с рассветом... с рассветом как-нибудь все уладится, не может не уладиться; раз прожекторы включились, даже если их включила мертвая автоматика, должен же кто-то вступить с нами в контакт, и уж этот первый контакт замкнет дальше всю цепь. — Все, как и должно быть, все в пределах ожидаемого, дорогие мои! — зажигательно прогрохотал я, поворачиваясь с мегафоном во все стороны. — Продолжим репетицию встречи! Все находятся в своих двадцатках?

Может быть, кто-нибудь и наблюдал за нами с этих прожекторных вышек, лично ли, скрытый слепящим светом, отраженным от мощных зеркал, при помощи ли телекамер, точно так же невидимых для нас, — мы, ни на что не обращая внимания, выстраивались колоннами, разворачивали транспаранты — «Метро действует! Метро готово принять своих первых пассажиров!», — опускались по команде, в знак нашей негордыни, смирения и готовности к подчинению, на колено — проделывали все, что было намечено, и я лишь не произносил своей речи.

3

Мы повторили всю церемонию встречи раз десять, и наконец свет прожекторов начал блекнуть, небо высветилось, и стало ясно, что близок уже и восход.

Никто с намн за все это время вступнть в коитакт не пытался.

Отгороженные забором, мы были лишены самой маломальской свободы в своих действиях. Забор навязывал нам тактику ожидання. Но ожидать дальше было невозможно. Сколько люди могли еще выдержать пытку бездействием? Ведь иельзя же было считать действием бессмысленное, пустопорожнее повтореиие одних и тех же механических движений, которыми я принудил их заниматься. Ну, еще десять, еще пятнадцать минут... а потом?

Следовало искать контакт самим.

«Отдых!» — дал я комаиду.

И пошел к лнтым, бесстворчатым железиым воротам в заборе.

Я не дошел до них метров десять, когда откуда-то сверху на меня обрушился многократно усилениый динамиком, властный, тяжелый голос:

— К воротам не приближаться!

С мощностью этого диаамика мой мегафои ие шел нн в какое сравнение.

Я остановился. Если я и ие ждал имеино такого окрика, то все же к чему-то подобному был готов. И у меия уже была подготовлена первая фраза.

— Метростроители прнветствуют вас! — сказал я в мегафои. — Мы подиялись к вам с важным н радостным сообщеиием...

Больше я не успел произнести ничего, — голос из динамика прогремел виовь:

— Отойдите от ворот!

Я остался стоять на месте.

— Мы поднялись к вам... — начал я, ио динамик сиова перебил меня:

— Отойти от ворот, и иикому ие приближаться к забору! В случае нарушения запрета будут приияты экстреииые меры!

Я растерялся. Я попятился невольно иазад и так,

пятясь, дошел до своих. Если б еще я видел отдающего команды, к нему можно было бы обратиться с подготовленным заявлением, но невозможно же обращаться к голосу из динамика!

И, однако, нужно было что-то делать. Я не видел, но чувствовал, что все сейчас смотрят на меня.

— Стремянку! — глянул я назад, и слово побежало по губам, от человека к человеку, и спустя мгновение мне уже несли ее.

Стремянка была раздвижная, высокая, верхняя ее площадка находилась на высоте чуть ли не трех метров, и ни в какую другую пору никто б не заставил меня влезть на нее. С моей-то старческой ловкостью! Но тут я вскарабкался по ней, будто обезьяна, и только когда стал выпрямляться на верхней площадке, у меня задрожали ноги.

— Сойти с лестницы! — загремел голос в динамике, и в тот же миг я увидел, кто говорил.

Воздух уже сделался совсем прозрачен, режущий свет прожекторов почти втянулся в их стеклянные круглые зрачки и больше не мешал смотреть в их сторону.

За бетонным забором было, оказывается, уже целое столпотворение. Стояли шеренги солдат в полной выправке, с автоматами на животах; бегали суетливо какие-то люди в штатском; бронетранспортеры, пожарные машины, машины «скорой помощи» и еще всякие другие выстроились рядами поодаль; держась на уважительном расстоянии от всей этой техники, теснились там-сям уже достаточно многочисленные группки любопытствующего народа, и виднелись головы в распахнутых окнах двух близлежащих домов. А голос, отдававший приказания, принадлежал человеку в корзине телескопической «ноги» одной из пожарных машин, осторожно поднятой на не слишком большую высоту — он держал микрофон у рта, и на крыше кабины были установлены динамики.

— Немедленно сойти с лестницы! — повторно прогремели динамики, но я уже знал: ничего подобного! Мо-

жет быть, лучшего момента для нашего заявления уже не будет, и я должен сделать его сейчас. Именно сейчас, стоя на этой стремянке.

— Друзья! Сограждане! — произнес я в мегафон. Ноги у меня дрожали, меня так и болтало, и я боялся, что не смогу удержаться, упаду и смажу эффект от нашего обращения. Но все же я повторил, привлекая к себе внимание: — Друзья! Сограждане! Это мы! Это мы — те, потомки и наследники тех, кто ради вас, ради вашего счастья, защищая ваше человеческое достоинство, много лет назад спустился под землю!

Еще я боялся, что меня будут прерывать, не давать мне говорить, заглушая динамиками, но меня не прерывали. Человек в корзине молчал и даже опустил руку с микрофоном, стоял и слушал.

— Сегодня мы говорим вам, — решился я замедлить темп своей речи, — мы говорим вам: «Все готово! Пользуйтесь! Спуститесь под землю — и вы увидите подземный дворец...

Помеха пришла не из-за стены, она, будто столб огня, выросла тут, у меня под ногами — единым, заглушившим мои слова, потрясенным воплем.

— ...дворец, который готов принять вас и служить вам!» — докончил я с отчаянием, глянул вниз и обнаружил, что все, с одинаково тупым, оглушенным выражением лиц, смотрят куда-то на небо, в одну точку. «Солнце?» — подумалось мне. Но солнце это никак не могло быть, рано ему еще было. Я перевел взгляд, куда смотрели все, и увидел...

Коридор фосфоресцирующего, люминесцентного света плыл в небе, а внутри его, вместе с ним плыло темное, округлое, длинное, похожее на гигантский пенал. Только сейчас, при светлом небе, этот люминесцентный свет был много слабее, чем тогда, ночью, но зато пенал виден отчетливо и ясно. Что-то вроде окон поблескивало у этого пенала.

— Смотри! Вон-вон! Еще один! Вон там! — раздался

новый истошный вопль, и все без малого пятьсот человек устремили взгляд в другую сторону неба.

Наперерез тому, первому люминесцентному коридору плыл, появившись из-за крыш домов, точно такой же второй. Они плыли совершенно бесшумно, невесомо, фантомно легко, как и полагалось бы свету, если б он вдруг обрел свойства корпускулироваться и замедлять свою бешено-сумасшедшую скорость распространения в пространстве, но что за темное, явно материально-земное ядро они несли в себе? И коль оно было таким тривиально земным, то как могло оно двигаться с этой невесомой легкостью?

Люминесцентные коридоры наплыли один на другой, мазнули друг друга своими чуть бахромчатыми закраинами и разошлись каждый в свою сторону.

— Что это?! Что это такое? — Стремянку трясли, и, чтоб не упасть, я инстинктивно выпустил мегафон из рук, замахал ими, удерживая равновесие, и затем, так же инстинктивно, присел на корточки, а голос, что спрашивал, был до того искорежен яростью, что я не сразу узнал голос сына.

— Прекрати! — крикнул я ему, но он не понял, о чем я, и с лицом, обращенным ко мне, снова потряс стремянку:

— Ты знаешь? Отвечай!

— Не сходи с ума! — закричал я, нащупывая ступеньку и укрепляя на ней ногу. — Не тряси!

— Дебилы! У, дебилы! — тряханул меня сын, прежде чем отпустить стремянку, еще раз поискал глазами вокруг, увидел кого-то из нашей ветеранской группы и бросился к нему.

— Что это? Почему вы не знаете? Что это может быть? — схватил он его за грудки и, кажется, даже приподнял в воздухе.

Не знаю, кто сейчас мог погасить его бешенство, кроме меня. Я должен был спуститься на землю.

Но я спустился лишь на две-три ступени.

Разминувшиеся люминесцентные коридоры еще не успели исчезнуть из поля зрения, а из-за крыш появился еще один, и был он совсем близко и двигался прямо на нас, на здание станции.

Однако он не доплыл до нас. Он вдруг остановился в небе, завис и так же бесшумно, так же фантомно невесомо, как двигался до того, стал опускаться. Все ниже, все ниже — на не занятую ни машинами, ни людьми, не замеченную мной прежде обширную площадку между четырьмя мачтами, словно бы выстланную металлическим листом — так она блестела, и, когда коснулся ее, разом исчез, оставив от себя лишь темное, округлое, длинное, похожее на пенал, в котором действительно были окна. И еще двери, несколько дверей, пять или шесть. Они распахнулись, — и из них стали выходить люди...

Что же, сын снова мог спрашивать меня, что это такое. Теперь я знал.

— Вы помните, помните! — опять ворвался в мое сознание голос врача, но нет, я не хотел больше оказываться в том ужасе, хватит с меня, довольно, достаточно... и, однако, противиться этому голосу я не мог, я был бессилен перед ним, и вновь скользнул по нему туда... вот только там не было уже ничего, там был один голый мрак, глухая темь — полная беспамятность, из которой нечего было доставать.

И только словно бы в яркой мгновенной вспышке я увидел себя стоящим на четвереньках у бетонного забора с навесом из колючей проволоки, в сретенье его стен, как стоял тогда в утро перед казнью Магистр в палате медблока, превращенной в камеру: я толкаю себе в рот какую-то выдранную с корнями траву, давлюсь — и толкаю, и жую, у меня обильно течет слюна, сок у травы горький, на зубах хрустит земля, меня тошнит, но я запихиваю жвачку обратно в рот, снова жую и утробно, животно, дико мычу...

— Вы чувствуете облегчение и удовлетворение. Вас

больше не мучает, что вы ничего не помните, вы испытываете глубокое и сильное удовлетворение... — услышал я голос доктора и вынырнул в явь, открыл глаза и увидел небо с быстро бегущими облаками, так же мотало верхушки деревьев под ветром, но теперь память моя доверху, под завязку была полна знанием; подсознание отдало ей все, что хранило.

О, лучше б оно не хранило в себе ничего! Лучше б все стерлось навечно, — чтобы мне никогда не знать того, что произошло. Я чувствовал себя раздавленным, расплющенным, будто каток проехал по мне... зачем я остался жив, такой расплющенный, — уж если проехал, так раздавил бы насмерть...

— Конечно, вам тяжело от ваших воспоминаний, иначе и быть не могло. Но вы испытываете вместе с тем настоящее облегчение, что теперь вы не беспамятны, и это в вас сильнее всего. Это в вас сильнее всего! — внушая, наклонился надо мной, заглядывая мне в глаза, с улыбкой доброты и одобрения, доктор.

— А как они летают? — еле разлепив губы, спросил я то, что мучило меня и там, в этом гипнотическом сне, но что, находясь в нем, узнать я никак не мог.

Лицо доктора уплыло от меня вверх.

— Я точно не знаю, — сказал он. — Я не очень-то в технике... Явление сверхпроводимости при обычных температурах. Что-то там с магнитным полем, как-то оно вытесняется куда-то наружу из тела. Ну, и возникает возможность преодолеть гравитацию. Что-то вроде этого.

— И давно они летают?

— Лет тридцать, как первые начали. К вам, помню, пробовали пробиться, но вы такое сопротивление оказали... Помню, в газетах еще писали об этом. Я тогда совсем молодой был.

А, лет тридцать!.. Как раз, значит, вскоре после того, как мы «опустили шлагбаум». Пытались пробиться, было дело. Вон почему, оказывается!

— А отчего нас так встретили? Прожекторы там... войска стояли, кричали, чтоб мы не двигались?

— Да, по-моему, они просто не знали, что делать. Ну, власти, я имею в виду. Власти, по-моему, никогда ни к чему не бывают готовы. А как вы думаете?

Мне, однако, было вовсе не до того, чтобы обсуждать способности властей.

— А что с моими товарищами? — спросил я. — Со всеми остальными? Где они сейчас?

Доктор молчал какое-то время. По лицу его я видел — он мучительно обдумывает, как мне ответить.

— Понимаете ли... — будто в вату, проговорил он наконец.

— Да вы без околичностей, — сказал я. — Хуже мне уже не будет.

— Да-да, — быстро, успокаивающе улыбаясь, сказал доктор. — Организм у вас крепкий, поправились — прямо как огурчик сейчас.

— Ну? — поторопил я его.

— Кто где, — сказал он. — Часть здесь, у нас, в соседних палатах, в соседних отделениях... будем лечить. Есть и безнадежные. К сожалению... Часть в других больницах — на обследовании, реабилитации... очень значительные структурные изменения в организмах у большинства... у подавляющего большинства, так вернее. А часть... человек сто... еще прямо тогда, в то же утро... спустились обратно, замуровались... массовое самоубийство, каким-то газом...

Теперь я долго не задавал новых вопросов. Лежал, повернув голову на подушке к окну, глядел на живую, плещущую зелень деревьев под ветром и не мог решиться. Хотя мне нужно было лишь подтверждение того, в чем я уже был уверен. Впрочем, доктор мог, кстати, и не знать ничего.

— Поименно известно, кто эти сто? — спросил я в конце концов — так вот обиняком.

— Да, — тут же ответил доктор. — Выяснены личности всех. — Помолчал, я ничего больше не спрашивал, и он добавил: — Ваш сын среди них.

Конечно, среди них. Я в этом и не сомневался. Полководец, проигравший решающее сражение, должен уйти из жизни. Мой сын был истинным полководцем. Он был, был им, и если не смог остаться им до конца — здесь, поднявшись на землю, — так это невозможно поставить ему в вину. Боже, зачем меня хватил этот проклятый ступор, зачем со мной случилось это беспамятство! Мне бы быть с ним, моим сыном, быть с ними, этими ста, разделить их судьбу... Теперь, одному, едва ли уже суметь. Имеется опыт...

— А как, — спросил я, — у меня со структурными... и всякими прочими изменениями?

— Да вы как огурчик, я же говорю, — сказал доктор. — Мы вам тут, пока вы лежали, столько анализов сделали... у вас все в порядке.

— И значит, мне еще жить и жить?

— Жить и жить! — радостно подхватил доктор, кладя мне на плечо теплую покойную руку.

Я потянулся, накрыл ее своей и, глядя ему в глаза, попросил:

— А вы бы не могли мне закатить чего-нибудь... ну, такого, чтобы я... я не говорю, умер, а чтобы меня не стало?

Он сидел, пригнувшись ко мне, молчал, смотрел мне ответно в глаза, и в них я читал приговор себе: нет, конечно!

— Да убейте же меня, убейте! — скидывая его руку со своего плеча, закричал я и засучил ногами, забил по постели руками. — Убейте же меня, убейте, окажите мне милость, боже ты мой!

Доктор встал, быстро прошел к двери палаты и, распахнув ее, крикнул в коридор:

— Сестра! Пять кубиков успокаивающего! Поживее, будьте добры! И кликните санитаров!

— Какое успокаивающее! На хрен мне успокаивающее! — дергал я и бил по постели руками. — Яду мне пять кубиков, яду!

Несколько пар сильных рук взялись за мое тело, перевернули его животом вниз, притиснули к кровати, и я ощутил укол в ягодицу.

«Боже мой, значит, жить», — подумалось мне, когда шприц выдернули и по ягодице, щекоча кожу, потекла из-под ватки холодная струйка спирта.

4

Жизнь моя тянется чередой однообразных дней. Жизнь моя прожита, и это я не живу, а доживаю, и какими же еще могут быть мои дни... Я ем, сплю, справляю другие свои естественные надобности, мою пол в своей конуре, стираю себе белье, хожу в магазин за продуктами, через день — на ночное дежурство в детсад, чем зарабатываю на это существование. По-моему, хорошее занятие для недоучившегося философа — ночной сторож. Сижу там на табуретке под входной дверью, курю, сыпля пеплом на пол, замечаю, что намусорил, и тащусь с тряпкой в туалет, замываю пол и снова сижу, и снова сыплю пеплом — и так до утра. Черт знает, зачем я там нужен ночью. Но за это платят, и я хожу. Ведь у меня нет никакой пенсии. А идти с протянутой рукой на улицу, как делают, я видел, некоторые из наших, — это не по мне, это не для меня.

Почти уже десять лет я отжил здесь, на земле. И ни разу не болел за прошедшее время, не чихнул, не кашлянул. Я и без того чувствую себя настоящим Мафусаилом, сколько же это еще таскать мне свое иссохшее, потерявшее мышцы, с хрустящей сморщенной кожей тело?

Ни с кем из наших, кто остался тогда на земле и сумел выйти потом из больниц, я не вижусь. Встречи с

ними не доставляют мне никакой радости, только заставляют кипеть желчь.

Я хожу, примерно в неделю раз, а то и чаще, на кладбище, на могилу отца с матерью. Это все равно, как если б я навещал Веточку с нашими детьми. Ведь они тоже все лежат в земле, только очень глубоко, а туда, на их могилы в Склепном зале, нельзя — все входы в метро замурованы, и даже тот, вскрытый нами, снова залит бетоном.

На кладбище я провожу, случается, несколько часов. Это единственное место, где мне есть с кем поговорить, а за неделю молчания я так изголодаюсь по разговору, что говорю и говорю и никак не могу остановиться.

Чаще всего я разговариваю с отцом. Мы сейчас сравнялись с ним возрастом, и он не смеет ни кричать на меня, ни обрывать, ни просто раздражаться, он просто иногда замолкает надолго, я тереблю его — ну, ты чего? — и он отзывается с горечью: да ты уже сам с усам, чего теперь... Ну а ты б как хотел, говорю я, ведь я жизнь прожил. То-то и оно, отвечает он.

На кладбище я беру с собой обычно его предсмертное письмо, которое передали мне, когда я еще лежал в больнице, — вскоре после того, как очнулся. «Сынок!» — обращается он ко мне, и мне всякий раз странно читать такое обращение к себе, — какой уж я сынок! «Мама так тосковала по тебе перед смертью», — пишет он, но в груди у меня ничего не откликается на эти слова, и я даже не пытаюсь уже вспомнить лицо матери — я совершенно не помню его. «Так жаль, я даже не знаю, получишь ли ты мое письмо. А вдруг тебя уже нет и я пережил тебя», — пишет он, и меня опять не трогает это: я сам пережил своих детей, да и отец существует для меня уже не во плоти, а только этим вот письмом, наши прошлые и нынешние разговоры с ним — лишь некая духовная субстанция.

Но жить без этого его письма я не могу. Оно написано на обычных, непрочных листах бумаги, вытерлось

на сгибах, обтрепалось по краям, и я наклеил все три его листа на плотный картон, сшил куски картона наподобие книжицы, ее-то и таскаю с собой.

Иногда во время моих кладбищенских бесед мне становится очень плохо. Это случается обычно тогда, когда я разговариваю не с отцом, а с Веточкой. Я вспоминаю, как молоды мы были, как мы гуляли по хрусткому ледку осенних лужиц перед спуском под землю, мечтая о том, как выйдем оттуда через несколько лет победителями, и мне делается так горько, что нет спасу. Я вспоминаю, что на мне прервется мой род, умру — и не останется на земле никого моей крови; я вспоминаю, что и от нашего с Веточкой дела ничего не останется, все было бессмысленно — все лишения, тяготы, весь ужас бессолнечного подземного житья, — наше метро никому не нужно, наглухо закупорено, и стоят там без толку наши электростанции и заводы, ржавеют поезда в пустынных депо...

Вот тут-то, в такие моменты, я и достаю из-за пазухи складень отцовского письма. Читаю из середины, конца, начала, читаю и перечитываю — и ощущаю, как горечь и душевная немочь оставляют меня, я наливаюсь силой, крепостью и уверенностью в себе. Отец всегда подвигает меня на спор с ним, а спор бодрит меня, ярит кровь и рождает чувство правоты.

А зато каким азартом была наполнена наша жизнь, говорю я отцу, а вместе с ним и всему этому земному миру, что стоит для меня сейчас за его спиной. Каким счастьем наполнена! Проживи-ка такую жизнь кто другой!.. Счастливыми нас делают высокие намерения, а не осуществленные цели. Да-да, именно так! Мне просто не повезло умереть вовремя, как другим. Как Инженеру, Декану, Рослому, да и тому же Волхву, и, кстати, Магистру в том числе... Да, просто не повезло! И ни перед кем, и ни перед чем нет ни моей вины, ни чьей-либо еще из наших. Уж если кто виноват, так это власти. Да, они виноваты, действительно виноваты! Если они уже знали

о работах со сверхпроводимостью и оттого не хотели строить метро, почему держали все в тайне? Зачем им нужна была эта тупая секретность? Отчего они ни единым намеком не развеяли туман, который сами же напустили? Пальцем для того не пошевельнули! А уж силу-то свою показали, вволюшку поиграли ею, до услады! Их вина, что метро никому не нужно, только их!..

Собираются тучи, начинает накрапывать дождь, и вот он уже льет вовсю — целое небесное извержение. Я поплотнее запахиваю пиджак на груди, где у меня, завернутое в пленку, спрятано письмо, и поднимаюсь со скамьи. Ни зонта, ни плаща — ничего у меня нет. Ну, вымокну — наплевать. Может быть, хоть простужусь и заболею. Мне себя не жалко. Мне жалко лишь письма. С ним ничего не должно случиться, и надежный полиэтиленовый пакет всегда со мной.

На земле уже натекли лужи, я иду, не обращая из них никакого внимания, прямо по ним. Тут, у кладбища, — посадочная площадка этих самых «пеналов». Но я обхожу ее стороной и иду под дождем дальше. Я никогда не пользуюсь этими летающими штуковинами. Только наземным транспортом. Только им.

Время от времени меня в моей конуре посещают всякие молодые люди. Среди них бывают студенты, случаются рабочие, попадаются школьники, но почему-то чаще всего — это парни, недавно отслужившие свой срок в армии. Как они меня разыскивают, откуда у них мой адрес — бог знает. Они просят рассказать о нашем Движении, о том, как все начиналось, жалуются на бесцельность и пустоту жизни.

Я не разговариваю с ними. Какие такие истины я им открою, какой такой мудростью поделюсь? А вспоминать мне не хочется.

— Идите, ребятки, идите! — отправляю я их. — Никто вам в рот ничего не вложит, ищите сами.

Но когда я остаюсь один, я ощущаю в себе дикое, страшное бешенство. Почему приходят только эти моло-

дые, зеленые ребята! Почему не придет, почему не возникнет в один прекрасный день в моей конуре человек, который хотел бы побеседовать со мной не ради себя, а ради меня, ради всех других, отдавших свои жизни строительству метро, — такому я бы многое рассказал, о многом бы вспомнил в беседах с ним. Я верю, наше метро еще будет размуровано, по туннелям его еще побегут, рассекая со свистом воздух, в облаке веселого грохота скорые поезда, и толпы народа будут тесниться на платформах, ожидая посадки. Это бред, этого не может быть, это противоречит всем законам физики, чтобы можно было свести на нет гравитацию, эти «пеналы» не могут летать, это какой-то великий обман, общее умопомешательство, что всем кажется, будто они летают! Они упадут в один прекрасный день, упадут, непременно упадут! И тогда понадобится наше метро. Тогда в нем возникнет нужда, тогда вспомнят о нем!

А возникнет нужда в метро — возникнет и нужда в знании о тех, кто строил его. Такой героический, славный путь пройден от первого наклонного туннеля до пуска поездов. Такие героические, мужественные люди проделали этот путь. Они заслужили памятники, они достойны книг, о них должны складываться легенды. На их примере есть чему поучиться!

Потом мало-помалу бешенство и ярость оставляют меня, и я прозреваю, до чего же смешон и жалок я был в своем толькошнем бурлении. Как это «пеналы» не могут летать, когда летают! И никто от них, конечно же, не откажется — что за резон! А метро если когда-нибудь и размуруют, то только для каких-нибудь глупых экскурсий. И девушка-экскурсовод будет говорить с легкомысленным видом, словно бы о глиняных черепках давно умерших, далеких от нас цивилизаций: «А вот здесь они выплавляли сталь. А вот здесь они ткали свое синтетическое полотно...»

Да, так, наверное, и будет.

Но все же хочется утешения, сознания ненапрасно-

сти прожитой жизни, сознания *оставляемого* после тебя, и оттого я вновь и вновь думаю с сумасшедшей надеждой: а может быть, жизнь и в самом деле преподнесет мне все-таки такой подарок. Ведь для чего-то же бог продлил мои дни на земле!

Или он сделал это только в насмешку надо мной?


АЛЕКСАНДР КАБАКОВ
НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ
ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЛЮБЕРЦЫ! ДОЛОЙ МОСКВУ

Никогда я так не жалел о том, что лишен больших литературных способностей, как сейчас. Бесцветный и невыразительный либо, наоборот, слишком претенциозный стиль, которым я когда-то записывал результаты своих экспериментов, совершенно непригоден в нынешних обстоятельствах. И думаю, что естественное и полное недоверие, которым будет встречен этот рассказ — а коли он не вызовет доверия, то не вызовет и интереса, поскольку интересен может быть именно и только абсолютной достоверностью и точностью, — думаю, что недоверие со стороны читателей — если после всего случившегося они когда-нибудь снова появятся — полностью уничтожит тот практический эффект, которого я хотел бы достичь.

Великие проповедники, сумевшие увлечь народ, несомненно, обладали великими же литературными дарованиями. Евангелисты немного сделали бы для распространения истины, открывшейся Христу, не будь они гениальными писателями. К сожалению, столь же часто, если не чаще, дар слова бывал отпущен и злодеям, и шарлатанам, и недальновидным, ограниченным глупцам, жаждущим общего блага. Последние были даже более опасны, чем заурядные негодяи — наркотик тем более ужасен, чем естественней он включается в обмен веществ, особенно если и употребление его приятно.

Впрочем, об этом еще будет случай здесь порассуждать. Ведь то, что есть предмет моего рассказа, — не более чем реальная иллюстрация вышесказанной мысли.

Они явились прямо в институт.

В лаборатории зазвонил телефон, я снял трубку и услышал голос нашего начальника отдела кадров — сварливый голос в сущности уже довольно беззлобного вдового старика, чьи наивные хитрости и интриги давно побледнели рядом с элегантным людоедством моих молодых и ученых коллег.

— Юра, — обратился он ко мне на «ты» по праву старшего, — зайди ко мне, пожалуйста.

— Попозже, — довольно небрежно ответил я. Идти через все здание не хотелось, к тому же на столе лежала куча неподписанных таблиц, а до обеда я решил обязательно полностью с ними разделаться. Старик же для меня давно не представлял никакой власти, даже по части характеристики: надо будет — так и без его благоволения подпишу и поеду... Но голос Аверьяна Павловича стал одновременно и тверд, и искателен почему-то:

— Зайди, я тебя прошу. Сейчас зайди, слышишь?

Выражаясь гораздо более энергично, чем того заслуживала ситуация и чем принято при дамах — правда, у нас в институте, как во многих такого рода заведениях, уже давно было принято и при дамах, — я отправился в кадры. Я вылез из-за стола, выскочил из лаборатории, слетел по короткой лестнице на полэтажа и понесся по длинному коридору. Грязно-бирюзовые присутственные стены, вечно мигающие полусломанные лампы дневного света и архаические ковровые дорожки, застеленные полотном с грязными следами, придавали нашему институту вид самой что ни на есть заштатной конторы из глухо провинциальных. А между тем это был академический институт, и иностранные делегации изумлялись, не умея совместить проблемы, которыми мы занимались, имена и степени сотрудников с интерьерами институтских коридоров, а особенно буфета и уборных. Сортиры у нас были выдающиеся даже по отечественным меркам.

В кабинете у Аверьяна из-за гигантского сейфа мне навстречу поднялись со стульев двое. Один из них шагнул вперед и удивительно ловко произвел сразу несколько движений: правую руку он протянул для пожатия, на которое я машинально ответил, левой откуда-то вытащил и, развернув, на мгновение близко поднес к моему лицу довольно большое удостоверение, в котором я не успел прочесть ни имени-отчества, ни фамилии, ни должности — ничего, только организацию, тут же удостоверение спрятал и, не отпуская правой моей руки, своей левой повел в сторону товарища, невнятно назвав его, одновременно стал сам садиться, потянув меня книзу, так что и я оказался на стуле. Тут же сел и второй, и вдвоем они образовали как бы коротенький полукруг, в фокусе которого сидел я.

Аверьяна, когда я оглянулся, в кабинете уже не было. Только валялись на его столе какие-то приказы да стояла полуоткрытая жестяная коробочка со штемпельной подушечкой.

Я почувствовал, что лицо мое обрело давно не посещавшее его выражение. Мол, что ж тут такого, ничего особенного, мы люди опытные, понимаем все насквозь, и в визите таком нет ничего удивительного, дело естественное и даже необходимое, хотя, конечно, и не без комического оттенка... Примерно такое выражение: ну, ребята, давайте послушаем, чего вы расскажете...

— Юрий Ильич, — сказал, старательно улыбаясь, тот, что пожимал руку, — ну, пришли мы послушать, что вы нам расскажете.

Вопрос был удивительно прям и в то же время абсолютно бессмыслен. Поэтому мне и думать не пришлось, чтобы ответить.

— А, собственно, о чем? Простите, имя-отчество ваше не расслышал... и товарища вашего...

— Игорь Васильевич! Это я виноват, голос у меня тихий, да и дикция не очень... Игорь Васильевич я. Простите уж нас, что отрываем... А это вот, прошу лю-

бить и жаловать, молодой наш товарищ, начинающий, можно сказать, стажер, я-то уж давно, а он начинает только, Сергей Иванович, его и без отчества можно, молодой еще, а мы думали-думали, к кому бы нам обратиться, и вот решили к вам, вы понимаете, мы, конечно, сначала все узнали, о вас люди, Юрий Ильич, исключительно с уважением отзываются, мы бы к другому еще раз пять подумали, прежде чем обратиться...

— И совсем бы, наверное, не обратились, — вставил Сергей Иванович. Игорь Васильевич заткнулся и вдруг отчаянно захохотал.

— Ха-ха-ха, ох, насмешил, Сергей, ох... И, конечно, ведь он прав, Юрий Ильич, и совсем бы не обратились, но вас здесь все в институте исключительно уважают, и руководство, и так, знаете, рядовые товарищи, исключительно хорошие отзывы, и как специалист, и почеловечески, а нам ведь тоже не хочется к кому попало обращаться, люди, вы знаете, Юрий Ильич, разные есть, одного спросишь, а он и не знает ничего... Вы курите? Закуривайте.

Тут мы все втроем дружно закурили, причем они довольно долго рассматривали мою пачку сигарет и, переглядываясь, качали головами, так что и я внимательно ее осмотрел, прежде чем спрятать, но ничего не увидел.

— Юрий Ильич, — сказал, сделав серьезное лицо, молодой Сергей Иванович, — ну, мы пришли послушать, что вы нам расскажете.

— А, собственно, о чем? Простите, имя-отчество ваше... Сергей...

— Иванович. Вы имена плохо запоминаете? Вот и Игорь Васильевич наш тоже... скажешь ему имя-отчество, а он тут же забыл. Как, говорит, имя-отчество этого, что ты докладывал, Сергей? Я говорю — ну, как же вы не помните, Игорь Васильевич, Джеймс Френклин Лопатофф, а он говорит...

— Бывает, это бывает, Юрий Ильич, — перебил мо-

лодого Игорь Васильевич. — Но мы-то пришли послушать, что вы нам расскажете.

— Да, собственно говоря, о чем же я рассказать могу? Игорь...

— Васильевич. Это так уж у нас в роду и велось: я Игорь Васильевич, а отец мой Василий Игоревич был. А дед — опять Игорь Васильевич. Так и шло, понимаете?

— А меня в честь Есенина мать назвала, — тут же влез молодой. Мы снова все вместе закурили.

— Да, — сказал Игорь Васильевич, выпуская дым в сторону и отмахивая его рукой, — это вы, конечно, Юрий Ильич, просто из скромности на себя наговариваете.

— Что именно? — от третьей подряд сигареты во рту у меня было отвратительно кисло.

— Да вот, что у вас таланта литературного нет и тому подобное. Я ведь, вы сами понимаете, по службе все, что вы пишете, читал, но я, конечно, не специалист, так ведь и от специалистов слышал, что исключительный у вас литературный талант и язык очень богатый, правда, Сергей? Вот Сергей не даст соврать, он у нас исключительно честный, но тоже скажет, что не только в вашем институте, а, может, и во всей Москве сейчас такого языка богатого ни у кого нет. И со стороны руководства о вашем языке самые положительные отзывы, и рядовые сотрудники очень уважают...

— Ну, при чем наш институт, — возразил я, потянувшись было за сигаретой, но раздумав. — Что у нас в институте в языке понимают? Институт-то ведь не литературы же и не русского языка...

— Нет-нет! — закричал Игорь Васильевич и весь подался на стуле вперед, так что пиджак его распахнулся, но он его немедленно запахнул. — Нет, и в институте, и вообще понимают, вы будьте уверены, ценят вас и знают, кому положено, конечно. Вот я вам такой пример приведу: написали вы, допустим...

— Ну что? — перебил я, потому что он меня уже довел этой пустой и полуграмотной лестью. — Ну что я написал? Рассуждение о связи между сущностью учения и формой проповеди? Или насчет иллюзий справедливости? И то и другое — самым сухим, самым казенным стилем...

— Ну, не только, — коротко буркнул Сергей Иванович и даже вроде обиделся по-детски.

— Правильно, — согнав постоянную улыбку, поддержал Игорь Васильевич, — правильно Сергей говорит: именно не только, Юрий Ильич! Разве вы не можете написать высокохудожественно? Еще как можете. Если захотите нам помочь. Мы ведь думаем, что вы захотите нам помочь, правильно? Мы же вас не заставляем, Юрий Ильич, мы только просим: напишите. Вы же, наверное, не догадываетесь, а нам точно известно: такой поток серости идет сейчас в нашу отечественную литературу, такой поток!.. Ужас. А вы нам очень могли бы помочь.

— Нет, ребята, — сказал я и закурил. — Не понимаю, чем я все-таки могу вам помочь. Совершенно не понимаю. Мало того, что я чутья к слову не имею, я совершенно не умею выдумывать. Я считаю фантазию для порядочного экспериментатора абсолютно неприемлемым качеством и никогда ничего и ни о ком выдумывать не буду...

— Вы нас обижаете, — сказал Сергей Иванович, — честное слово. Да разве мы вас просим выдумывать? Нам и в голову бы не пришло вас об этом просить...

— И в голову бы не пришло, — сказал Игорь Васильевич, — вы нас обижаете просто. У нас совершенно и редакция другая, мы фантазиями, или, как вы говорите, выдумками, вообще не занимаемся. Это у вас просто представление такое: раз мы — значит, фантазия, беллетристика, романы, ночные бдения, трагедии, как при Бальзаке...

— Или даже при Достоевском каком-нибудь, — до-

бавил Сергей Иванович и чуть улыбнулся. — Преступление и наказание прямо. Это все уже давно прошло, Юрий Ильич, сейчас исключительно документальное всех интересует.

— Время другое, — серьезно закончил Игорь Васильевич.

— Но о чем же я могу написать?! — тут и я засмеялся. Со стороны мы выглядели, конечно, совершенно одинаково. Коллеги-литераторы беседуют. «Я уже вполне усвоил их тон», — с ужасом подумал я. — Ну, написать о нашей беседе, например? В лицах...

— Обязательно!!! — закричали они хором и, немедленно встав, кинулись пожимать мне руки. — У вас прекрасно получится. А мы уж позвоним, вы извините, как только напишете, так и позвоним... Счастливо вам! Прямо так и давайте, странички четыре-пять, на машинке, через два интервала, поля стандартные. Так и пишите: дескать, они явились прямо в институт, и так далее. А потом переходите сразу к главному: ночь, улица, фонарь, аптека, ну и так далее. Улицу-то знаете?

— Знаю, знаю, — отвечал я, пожимая руки.

— Ну, так и пишите: улица такая-то, почтовый индекс, если в центре, не обязательно... еще раз пожелаем всего хорошего!

— Давайте я вам пропуск подпишу, — сказал Сергей Иванович строго.

Игорь Васильевич высоко, до хруста заломил мне руку за спину и несильным пинком вытолкнул меня в институтский коридор. В коридоре было пусто и только в дальнем конце светилась одна — ночная, дежурная — лампочка.

Ледяной ветер нес снег зигзагами, и белые струи, словно указывая мне путь, поворачивали с Грузин на

Тверскую. Где-то в стороне Масловки стучали очереди — похоже, что бил крупнокалиберный с бэтээра. Я вытащил из-под куртки транзистор и ненадолго — батарейки уже и так катастрофически сели — включил его. «Вчера в Кремле, — сказал диктор, — начал работу Первый Учредительный Съезд Российского Союза Демократических Партий. В работе съезда принимают участие делегаты от всех политических партий России. В качестве гостей на съезд прибыли зарубежные делегации — Христианско-Демократической Партии Закавказья, Социал-Фундаменталистов от Туркестана, Конституционной Партии Объединенных Бухарских и Самаркандских Эмиратов, католических радикалов Прибалтийской Федерации, а также Левых коммунистов Сибири (Иркутск). В первый день работы съезда с докладом выступил секретарь-президент Подготовительного Комитета господин генерал Виктор Андреевич Панаев. Московское время — ноль часов три минуты. Продолжаем передачу новостей. Вчера в Персидском заливе неопознанные самолеты подвергли очередной ядерной бомбардировке караван мирных судов, принадлежащих Соединенным Штатам Америки. Корабли шли под нейтральным польским флагом, но это не остановило клерикал-фашистов. Мировая общественность горячо поддерживает миролюбивые усилия...»

Я выключил приемник и двинулся по Тверской. По обе стороны широкой, ярко освещенной луной улицы брели люди. По одному, по двое они шли от Брестского вокзала вниз, к центру. Все несли сумки, у многих за плечами были маленькие тощие рюкзаки — последняя предвоенная мода. И полы многих шуб, курток, пальто так же оттопыривались, как и у меня, а кое-кто нес «калашникова» и вовсе — по ночному времени — открыто. Светила луна, и под ее светом ползли, извиваясь, серебряные нити снега, и время от времени нарастал шум, и проносился по самой середине мостовой легкий танк, или, грохоча проржавевшими дырявыми крыльями, по-

лузадохшаяся «Волга», и шли по тротуарам люди — и легкий гул разговоров шепотом, дыхания, шарканья шагов стоял на улице.

Я вспомнил, как когда-то давным-давно, а если точнее — ровно десять лет назад я уже шел по ночной Тверской, тогда еще Горького, и цель моего путешествия была почти такая же, что и сейчас. Мне должно было исполниться сорок лет, было позвано огромное количество гостей, была уже куплена водка, еще продавалась она совершенно свободно, и никто не опасался попасть в очереди у винного в облаву истребительного отряда угловцев, но вот не хватало нам с женой, видите ли, деликатесов к юбилейному столу. Нам казалось, что с продуктами в магазинах плохо, что на стол нечего поставить, что для того, чтобы достать еду, надо слишком много хлопотать... И мы решили сделать ресторанный заказ. И, проклиная наш постоянный дефицит всего, я шел по ночной улице в кулинарию этот самый заказ делать. У той знаменитой кулинарии с аналогичной целью собиралась большая очередь задолго до открытия. И как же я тогда возмущался! «Ночью! Очередь! За продуктами!» А в заказе чего только не было — кажется, даже мясо... Или масло... уже не помню. Может, этого не было ничего. Может, мне приснилось это такой же лунной ледяной ночью, когда так же змеился по мертвому городу снег и так же трещали пулеметные очереди, — мне приснились эти судки, и блюда, и что-то жареное, горячее, и обжигающий глоток водки, и запах кофе, и гости, входящие без оружия, нарядные гости в целой одежде...

Впереди, где-то у Страстной, грохнул взрыв. И улица мгновенно опустела — только последние тени задрожали у стен и исчезли, влившись в подъезды и подворотни. Я вильнул за угол, кинулся к знакомой двери — это был старинный дом, где прошло мое детство — снова одно из тех многих совпадений, которым мы уже перестали удивляться в эти ночи. Дверь была,

конечно, заколочена. Я рванул с шеи автомат, повернул и примкнул штык, подковырнул им доску...

В подъезде я был не один.

— Только стрелять не вздумай, — сказал хриплый голос, по которому не сразу угадалась женщина. — Ты на площадь?

— Ну, допустим, — ответил я осторожно. — Вы... вы где? Я не вижу здесь...

— Москвич, — вздохнула женщина, и мои глаза, притерпевшись, нащупали ее силуэт. Она стояла на площадке между первым и вторым этажами и выделялась на фоне сизого прямоугольника окна. — По выговору слышно, москвич. А я с Днепропетровска, как он теперь?.. С Катеринослава, ага. Вот приехала. А не знаешь, шо у вас тут, в этой Москве, можно достать какой-нибудь обуви или нема? Одна суета...

— Не знаю, — ответил я гораздо суше, чем даже хотел. — Я не интересуюсь обувью.

— А шо ж вас интересует? — перешла на «вы» женщина. Она спустилась по лестнице, подошла поближе. — Прикурить у вас будет?

Я прислонил автомат к стене, достал зажигалку, чиркнул. Огонек осветил склоненное женское лицо, сигарету, пальцы...

— Ой, спасибо, — сказала женщина, выпустив дым первой затяжки. Огонек зажигалки еще дрожал. Снизу, от моих ладоней, женщина подняла на меня подсвеченные им глаза. Именно такое лицо я и ожидал увидеть — сколько уже видел я их, этих южных красавиц, налетавших в столицу еще в те полузабытые времена, когда стояли они в очередях за сапогами, не рискуя налететь на выстрелы веером из подворотни напротив, на жестокую проверку Комиссии, на толпу одурелых двенадцатилетних бензинщиков... Сколько раз обманывался этими сухими, точно и тонко прорисованными лицами, сколько раз попадался на эту комбинацию паниочки и модели из хорошего журнала!..

И снова во тьме после сникшего огонька зажигалки поплыло передо мной это вечное лицо захватчицы — прямой короткий нос, обтянутые скулы, широко раскрытые, серьезные и ласковые глаза.

— И шо ж сегодня на той площади будет? — задумчиво, как бы сама у себя, спросила приезжая. — Надо сходить...

— Сегодня понедельник, — сказал я. Магия уже действовала, и вся моя доброжелательность вместе с так и не пропавшим бахвальством осведомленного московита пришли в движение, ринулись навстречу этому невидимому лику обмана. — По понедельникам там многое бывает. Можем пойти вместе...

— А можно и вместе... — с легким и так складно ложащимся на комический напев ее фраз смешком начала женщина, но договорить не смогла. За дверью, прямо в переулке, прошумел автомобильный мотор, грохнуло и зазвенело и тут же — топот многих бегущих, крики: «Куда?! Стой, стой, сука!.. Ворюга! Торгаш!.. Стой!» Мгновенно схватив автомат, я поймал в темноте женщину за рукав — рукав был скользкий, кожаный — и взлетел вместе с нею на этаж.

— Вот, дверь вы открыли, теперь до нас кинутся, — задыхаясь, прошептала женщина. Здесь, на площадке, окно выходило прямо в переулок. В его синем свечении лицо женщины потеряло почти все от фотомодели и стало совсем ведьмачьим. Я отодвинул ее в простенок, перехватил автомат поудобнее и осторожно придвинулся к стеклу.

В переулке я увидел человек восемь. Насколько можно было разобрать, все они были в военном, в десантных бушлатах, в беретах, стоявших лихо торчком, но по разномастной обуви и брюкам было ясно, что это не регулярные части.

— Афган, — севшим от увиденного голосом шепнул я женщине и не расслышал ее ответа — то, что про-

исходило в переулке, оглушило меня, и смотреть я не хотел, и смотрел не отрываясь.

Поперек переулка лежала перевернутая набок машина — кажется, старенький «мерседес». Судя по развороченному перед нею асфальту, перевернуло ее взрывом гранаты, который мы слышали. Вокруг суетились люди в беретах. Через оказавшуюся сверху дверь они вытаскивали какого-то человека. Похоже было, что человек не особенно пострадал — во всяком случае, он и сам старался вылезти и одновременно вырывался из тащивших его рук... Его вытащили, двое держали его за локти, отведя чуть в сторону. Следом из этой же двери вытащили женщину. Ее тащили как мертвую — она висла на руках, складывалась, голова без шапки и платка моталась. Вытащили и ее, посадили, прислонив к багажнику... Тем временем двое, державшие мужчину, вывели его на середину переулка, к ним подошел третий, держа на весу, низко, на вытянутых руках, тяжелый пулемет. Двое шагнули в сторону, мгновенно растянув руки мужчины крестом, третий, не поднимая пулемета, упер его ствол в низ живота распятого, ударила короткая очередь. К стене противоположного дома полетели клочья одежды... Женщина сползла вдоль багажника и легла на мостовую, будто устроилась спать — подтянув ноги калачиком.

Через мгновение убийц в переулке уже не было.

— Та шо ж такое, шо ж это такое?! — услышал я и снова обнаружил женщину, глядящую рядом со мной в окно.— Шо ж оно творится в вашей Москве, шоб она уже сгорела!..

— Надо уходить отсюда, — сказал я.— Через пятнадцать минут здесь будет Комиссия, они начнут обыскивать подъезды и чердаки, нам конец...

— Какая еще комиссия,— женщина, плача, упиралась, я тащил ее с лестницы,— какая комиссия, поубивают тут, в той Москве!..

— Комиссия Народной Безопасности, неужели вы и

этого не знаете? — бормотал я на ходу. — Идемте, идемте быстрей!

Мы приоткрыли дверь, но было уже поздно. С двух сторон в переулок въехали машины — полицейский микроавтобус и черная «Волга» с красным мигающим огнем на крыше. Вспыхнули фары, захлопали дверцы, люди в серой полицейской форме и в штатских куртках выскочили и выстроились двумя цепями, перекрыв перекрестки. Я прикрыл дверь. Автомат в моей руке блеснул в проникающем с улицы свете все еще примкнутым штыком...

— Все, — сказал я. — Все, сейчас они пойдут по домам...

Женщина молчала, было слышно только ее дыхание, громкое дыхание потерявшего себя человека.

— Погодите, — я сказал это слишком громко и вздрогнул. — Погодите! А как вы попали сюда? Дверь же была забита...

— Да есть же там сзади другая, — женщина вспомнила, рванулась, и я, не выпуская ее кожаного рукава, рванулся за ней. Как же я забыл этот черный ход?! Хотя, кажется, раньше он был заперт...

Мы оказались во дворе — собственно, это был даже и не двор, а просто другая улица, но здесь стояли железные помойные ящики, чернел остов давно разбитой машины — это была изнанка некогда шикарного дома, выходящего на Тверскую. Снег здесь не полз под ветром, не змеился — он уже лежал, скопившись невысокими волнами первых сугробов с наветренной стороны помоек и ящиков. У одного из подъездов богатого дома маячила фигура — человек в красной нейлоновой куртке шагал взад и вперед, как часовой. Мы прошли близко, я увидел молодое лицо, совершенно седые длинные волосы бесполого существа, услышал бормотание: «Она выйдет — а я тут. Она выйдет — а я тут. Она выйдет — а я...»

Я вспомнил, что в этом подъезде жила некогда знаменитая певица, здесь всегда толпились безумные поклонники. Этот сумасшедший, похоже, бродил здесь с тех самых пор. Может, он и не знал, что кумир его давно уже поет для пассажиров парома, возящего в основном футбольных болельщиков между Англией и Швецией. Однажды какой-то буйный бритт швырнул в нее банкой из-под пива — он был огорчен проигрышем ливерпульцев. Би-би-си передавало об этом с глумливым сочувствием...

Мы уже шли по Садовой. Сзади остались черные руины «Пекина», миновать их удалось, к счастью, без приключений. Уже давно, с тех пор, как гостиница рухнула во время первых артиллерийских боев, с тех самых пор развалины были обжиты подмосковными анархистами. Все лето здесь висела выцветшая тряпка с надписью: «Да здравствуют Люберцы, долой Москву!», а однажды утром я видел, как красная кирпичная пыль, выдуваемая июньским ветром, ложилась на мертвеца, висящего в пустом оконном проеме третьего уцелевшего этажа. Это был парень из московских в своей униформе — черной кожаной куртке. Черная же кожаная фуражка сползла ему на лицо. Он висел на блестящей стальной цепи — так обитатели «Пекина» обозначили свое отвращение к его символу веры, к металлу. Шипы на браслетах, нелепо забинтовавших его вылезшие из рукавов запястья, блестели при свете китайских ресторанных фонариков. Пригородные палачи притащили их откуда-то и повесили в окне по обе стороны казненного. Они даже умудрились их включить, и бледный цветной свет был страшен утром.

— ...А у меня мужа убили еще в запрошлом годе, — продолжала женщина свой бесконечный рассказ. — Хороший был мужик, руки на месте, всем нашим, с Красного Камня — это ж у нас район такой в городе — машины ремонтировал, а они ж его и убили... Прямо на сервисе и убили, монтировкой вдарили, деньги — сколько

тех денег было, может, тысяча, старыми еще, «горбатыми», так они взяли и ушли. Соседи...

Я промолчал. Сколько уже слышал я этих историй — и просто в очередях, и от очевидцев, а вот теперь и от пострадавшей... Мне не жаль было ее умельца-мужа, для которого тысяча «горбатых» — как раз столько, сколько мы с женой тратили на весь недельный хлебный паек, — были не деньги. Не жаль было и ее, которая сейчас с сотней, а то и двумя этих тысяч приехала «по обувь» и, вспоминая мужа, тащится со мною ночью на площадь. Мне даже и того парня-металлиста, что висел, поблескивая шипастыми браслетами, было не жалко. Жалко мне почему-то было нелепой гостиницы со шпилем...

Мимо знаменитого дома с нехорошей квартирой, у подворотни которого дежурили пикеты с нарукавными повязками «свиты сатаны» и в кошачьих масках, мимо Патриарших, по периметру которых медленно ехал полицейский патрульный танк, скользя прожекторным лучом по фасадам, окружающим пруд, мимо какого-то посольства, обложенного мешками с песком, над которыми возвышались голубые каски китайцев из ооновского батальона, мы вышли на Спиридоновку.

— ...И вот я вас хочу спросить, а у вас нема, случайно, конечно, новых талонов? — Женщина заглянула мне в глаза сбоку, и снова в синем сиянии луны ее лицо мгновенно проделало путь превращений от рекламы какого-нибудь довоенного шампуня из полузабытой «Бурды» до панночки дьявольской. — А я б у вас покупила б, один к ста или как тут в Москве дают? Очень мне обуви надо...

— К сожалению, — я остановился. Только теперь я заметил, что так и тащу на виду автомат с примкнутым штыком. Складывая и убирая «калашникова» под куртку, я повторил: — К сожалению... у меня есть совсем немного... только не сегодня... впрочем... если на площади ничего, за чем я иду, не будет, я могу вам отдать, по

обычному курсу, один к восьмидесяти... на следующей неделе я должен получить еще немного... так что, если хотите...

— Вот же спасибо! — Она сразу забыла все свои давние горести и страхи этой ночи. — Вот же спасибо вам! Так я с вами уж, конечно, до самой площади и пойду. А можем, если хочете, вот и на лавочке тут посидеть... пока ж рано?

Слева от нас был маленький сквер возле какого-то дома из старых функционерских. Пустая милицейская будка с выбитыми стеклами темнела на краю сквера. Я взглянул на часы на столбе — было без четверти два. На площади я собирался быть около пяти.

— Что ж... давайте посидим, покурим.

Мы разыскали в темноте полусломанную скамейку, сели, закурили. У нее была, конечно, настоящая «Ява», я свернул свою, от протянутой ею пачки отказался — много лет я уже не принимал никакого угощения. Мы затянулись, я достал транзистор — минут пять можно было себе позволить послушать новости, тем более что к концу месяца батарейки обязательно должна была получить жена через очередную помощь «Иносемьи». Ее парижская родня самим своим существованием давала нам возможность и кормиться по талонам, и получать иногда нормальную одежду, обувь, батарейки — правительство не хотело терять тех, кто мог хотя бы когда-нибудь ввезти в страну настоящие деньги... Транзистор щелкнул и захрипел.

«...столица Эстонской Республики. Здравствуйт-те, дорогие русские друзья! Передаем новости. Вчера в лагере для интернированных граждан России произошли беспорядки. Федеральная полиция приняла меры. В парламенте Прибалтийской Федерации депутат от Кенигсберга господин Чернов сделал запрос...»

Я крутил настройку: от «Прибалтийского голоса свободы» точного времени лишний раз не дождешься.

«...в Крыму. Так называемое симферопольское пра-

вительство дает приют отребью, бежавшему на остров. Бандиты из пресловутой Революционной Российской Армии готовятся к вторжению в нашу страну. Всеобщее возмущение прогрессивной интеллигенции демократических стран вызывает в этой связи позиция печально известного сочинителя Аксенова, благословившего своей последней бездарной книжонкой «Материк Сибирь» кровавый мятеж повстанцев, продолжающих зверствовать в Оренбурге, Алма-Ате и Владикавказе. По сведениям газеты американских коммунистов «Вашингтон пост», недавно этот, якобы русский, писатель был принят верховным муфтием всех татар Крыма...»

Я выключил — батарейки садились, а время говорить, видно, не собирались. Теперь они говорят время все реже, чтобы заставить побольше слушать всякую чушь.

— Ото ж сволочи! — убежденно сказала моя спутница и швырнула окурок в кусты. И тут же, без всякой видимой связи спросила: — А у вас, конечно, извиняюсь, талоны откуда? Может, за границей кто есть или как?

Черт его знает, сколько мне еще пришлось бы пережить переворотов, чтобы отучиться от этой даже не привычки — порока: полной, полнейшей беспомощности перед этими, перед захватчицами!

Я не сказал о родственниках жены.

— Да так... на работе, — бормотал я, выключая транзистор и пряча его во внутренний карман. — Нам платят так...

— А где ж вы работаете? — Она говорила все тише, теперь она шептала, хотя недавно, когда было опасно и надо было молчать, она голосила вовсю. — А где, а? Извиняюсь, конечно...

Мы уже сидели обнявшись. Автомат резал ремнем шею и давил и мне, и ей на грудь, я стащил его и положил рядом на скамейку. Она просунула руки под мою куртку.

— Замерзла... вот же ж лавка холодная, ты смотри — на ней же мороз...

Я действительно увидел на лавке, на ее выпуклых планках, иней... Ее кожаное пальто свесилось полой, пола слегка дергалась и мела по снегу...

— Ну... ты не сказал... — ее акцент сейчас был почти незаметен, и слова она уже не пела, а выдыхала. — Не сказал... где... где ты работаешь...

Я сел, застегнул молнию, снова свернул листок с табаком, чиркнул зажигалкой. Она поправляла волосы, знобясь, застегивая пальто.

— Где, а?

— Ну... в газете, — буркнул я. Я был уже учен и давно не говорил без крайней надобности, где я служу. Тут же спохватился: она могла и знать, что в редакциях талонами не платят...

Но она не знала.

Когда я поднял глаза, она стояла передо мной, и ствол моего автомата был направлен мне прямо в лоб.

— Сучка, — сказала она, — сучка, говно. Давай сюда талоны твои сраные, журналист хренов! И вали отсюда! Ото из-за таких гнид началось все! Жили, как люди, все было нормально, мужик по шесть тыщ «горбатых» за хороший день зароблял, а вам все было плохо! Завидущие твари! Леонид Ильич вам плохой был, а у нас при нем в городе такая чистота была, и деловым людям, которые жить могли, жизнь была! Сталин вам был плохой, Брежнев вам был плохой, вам Горбачев ваш был хороший!.. Давай талоны и иди отсюда, а то убью интеллигента московского, вот точно — убью! Талоны, блядво!

Я медленно привстал со скамейки, и она с коротким визгом отскочила подальше, вскинула ствол...

— Тише... — я полез во внутренний карман. Я бы охотно отдал ей эту сотню талонов, но вовсе не был уверен, что после этого она с перепугу не разрядит в меня рожок. И в мирные времена эти не слишком были милосердны... — Тише... сейчас я отдам тебе эти поганые та-

лоны... только не стреляй, дура... тебя же Комиссия сразу возьмет... сейчас...

Можно было, конечно, упасть плашмя, рвануть ее за ноги в скользких полусапогах — и ничего бы она не успела: подумаешь, террористка... Но одно она могла бы успеть: выпустить очередь над моей головой, а здесь, среди этих обреченных домов, шум был почти так же убийствен, как и пуля.

Я уже готов был вытащить из кармана руку с талонами, когда в дальнем конце улицы раздался рев моторов. Вот уже показался передний танк — легкий, десантный, следом одна бээмпэ, другая, грузовик под брезентом, и танк замыкающим... На Спиридоновке начиналась очередная ночь.

Она оглянулась на шум. В тот же момент я резко рванулся к ней, правой рукой зажал сзади ей рот, левой, крутнув в запястье, вывернул ее правую, лежавшую на спуске автомата, — сильно сжав, чтобы, не дай Бог, не успела нажать. И вместе с ней рухнул наземь, за кусты сквера.

Теперь они позвонили домой.

Я собрался в институт, жена готовила завтрак, и приемник на кухонном столе бормотал беспрерывно — она включала его на все утро: «...быстроходные катера в Персидском заливе... продолжается движение делегатов... письма наших слушателей подтверждают — альтернативы перестройке нет... Всесоюзная девятнадцатая... а вот мнение академика Татьяны Заславской...»

Я снял трубку.

— Это Сергей Иванович, — услышал я радостный голос стажера. — Только вы вслух не повторяйте, Юрий Ильич, а то жена... Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказал я с омерзением и отчаянием. Значит, это еще будет продолжаться! И кончится ли?..

— Очень надо! — радостно сообщил Сергей Иванович. — Очень надо встретиться! Вы же ведь уже написали? Вот и хорошо. Только в институте уже неудобно, Юрий Ильич. Так что вы приходите лучше к гостинице, Юрий Ильич, ага, к «Интуристу». Так точно, четырнадцать часов, Юрий Ильич. Ну, до свидания, Юрий Ильич, Юрий Ильич, Юрий Ильич...

— До свидания.

Я шваркнул трубку.

— Кто это? — спросила жена.

— По делам, — сказал я и тут же ужаснулся: значит, я уже выполняю их указания, скрываю от жены. — По делам, из вестника...

У интуристовского подъезда меня ждал один Сергей Иванович, стажер. Как и положено, он был на посылках. Молча обменялись рукопожатием, молча ехали в лифте в толпе гогочущих и перекликающихся, как в лесу, немцев. Бабка в линялых джинсах, с сиреневой завивкой с доброжелательнейшим интересом разглядывала Сергея Ивановича. Я посмотрел на него ее глазами: нечто пухлощекое, пухлогубое, чубастое — на гигантском теле девяностакилограммового мужика. Она могла нас принять за отца с сыном — впрочем, одет по-сыновнему был я, на нем был приличненький универмаговский костюм с галстуком.

Игорь Васильевич встретил нас в номере радостными рукопожатиями и штатной улыбкой. Теперь я попытался и его портрет сформулировать: получилось нечто среднее между невзрачным современным киногероем и человеком с плаката по технике безопасности. Но улыбка у него была хорошая...

— Как путешествовалось, Юрий Ильич? — улыбаясь этой прекрасной улыбкой, морщившей все лицо, Игорь Васильевич двумя руками потряс мою руку и немедленно усадил в кресло у журнального столика, сам сел напротив, а Сергей Иванович пристроился на краю кровати. Номер был полуприбран, как при смене постояль-

цев. На столик тут же водрузилась пепельница, и мы, как водится, закурили разом. — Довольны экскурсией?

— Ну, — замялся я, — сами понимаете... интересно, конечно...

— Я думаю! — немедленно перебил Игорь Васильевич. — Это ж надо: девяносто третий!

— Я сам всю жизнь мечтал, — вставил и Сергей Иванович, — как Гюго прочитал, так и возникло желание: обязательно девяносто третий. Некоторые хотят, например, две тысячи какой-нибудь, а я почему-то именно в этот самый девяносто третий — и все...

— Ну, нам не положено, — с легкой грустью заметил Игорь Васильевич, — это уж вам... Как говорится, и с профессиональной точки зрения. Думаю, у вас в институте многие хотели бы, да не могут. На полгодика-годик — пожалуйста, а чтобы сразу в другую пятилетку... Ну, это же понятно: у вас способности... Если хотите знать, я уже двадцать лет вашими экспериментами интересуюсь, и вот даже Сергею говорил, не даст соврать: Юрий Ильич, говорю, из экстраполяторов самый в институте способный. Еще вы обычным экстраполятором работали, а я, как только в вестнике ваш отчет прочту, так и говорю: обязательно надо бы Юрию Ильичу на пятилетку-другую рвануть! И руководству даже докладывал... Да ведь вы сами понимаете, Юрий Ильич, — времена были другие. Кто бы вас тогда на пятилетку вперед отпустил? Считалось — нецелесообразно... Даже однажды — помнишь, Сергей, ты еще только стажером пришел, семнадцать лет назад — требовали, чтобы я на вас, Юрий Ильич, написал субъективку, как говорится — ну, это у нас так называется, мое, значит, субъективное мнение, а я говорю: хотите — пожалуйста, вот я кладу билет на стол, и можете тогда делать, что хотите, только я Юрия Ильича знаю и ручаюсь... Видите, Юрий Ильич, и в те времена у нас тоже разные люди были.

— А здорово вы ее, — неожиданно сказал Сергей Иванович и улыбнулся. В отличие от старшего он улыбал-

ся сдержанно и тонко. — Здорово! Раз — и скрутили. Могла ведь шум поднять! Убить, конечно, не убила бы, а шуму было бы много...

— Так я же всегда говорил, — тут же включился в неожиданно повернувшийся разговор Игорь Васильевич, — всегда говорил, что Юрий Ильич исключительно смелый человек! Вы же ведь смелый человек, Юрий Ильич?

— Как вам сказать, — я смутился, пожал плечами. — В общем, я действительно в последнее время мало чего боюсь. Семья у меня небольшая, жена — человек самостоятельный, чего мне бояться?

— Вот и я говорю, — согласился Игорь Васильевич. — Вы же и нас не боитесь, правда? Написали все, как будет, ничего не смягчили. Как будет — так и написали. И про интернационалистов, и про молодежь... И правильно! Зачем скрывать, если вы уверены? Нам ведь надо знать чистую правду, если мы правду знать не будем, кто же и предостережет руководство? А руководство надо предостерегать...

— И про наших-то, — Сергей Иванович опять тонко улыбнулся, пухлые его щеки едва заметно дрогнули, — про наших-то... как они на стрельбу-то... примчались... и цепью, цепью... тоже не побоялись сообщить, Юрий Ильич?

— И правильно сделали, что не побоялись! — воскликнул Игорь Васильевич. — Кстати: вы случайно, в лицо никого из них не запомнили? А то у нас есть такие факты, что там... некоторые товарищи... ну, в общем, не из наших, а только под наших маскируются... Да что я вам объясняю, вы такую возможность не хуже меня знаете, вы в одном из своих экспериментов ее даже отработали, только в прошлом, конечно...

— В ушедших временах, — уточнил Сергей Иванович, — правильно, Юрий Ильич?

— В общем, да, — вяло согласился я, — только не в ушедших, а в давно ушедших, если вы читали отчет...

— Именно, именно, — согласился Игорь Васильевич, — в давно ушедших. Мы того вашего отчета, правда, не читали...

— Но откуда же Сергей Иванович тогда знает? — удивился я.

— Так вы же сами только что сказали, — удивился и Игорь Васильевич. — Только что: «В общем, да, только не в ушедших, а в давно ушедших...» Правильно, Сергей?

Сергей Иванович кивнул. И тут мне стало нехорошо.

«Они же ни черта не знают сами, — с ужасом понял я, — они же ни черта не знали, пока я сам им все не рассказал, и они могут сколько угодно говорить, что я уже и о последнем путешествии отчет написал, но я ведь точно знаю, что я его еще не писал! И тот, старый отчет они не читали, а уж могли бы прочесть, его только ленивый не читал, и в институте, и вообще, он мне, собственно, и сделал известность, если она у меня есть хоть какая-то... Он даже был отдельным бюллетенем, о нем даже на конференции докладывали в Риме!.. Они ничего не знали, — повторял я про себя в панике, — они же ничего не знали, я сам им все наговорил, я сам стал им помогать...»

— Вот только зря вы не указали, — сказал Игорь Васильевич, — не встречали ли вы там кого-нибудь из ваших коллег, только... из тех. С той, значит, стороны...

— Да, — подтвердил и Сергей Иванович и стал еще важнее, чем выглядел обычно, очень важный пацан. — Мы ведь чем интересуемся? Мы же ведь женщинами, например, из Днепропетровска или даже ребятами из военно-патриотических объединений не интересуемся, у нас совершенно другое направление.

— Конечно, — продолжал Игорь Васильевич, — только с той стороны! Разве мы стали бы предлагать вам о женщинах или, например, о прохожем каком-нибудь, поклоннике, например, популярной певицы...

Это ж все наши люди! Нам это не нужно, и мы вас, как порядочного человека, об этом и не попросим. Но у нас есть данные...

— Совершенно точные, — вставил Сергей Иванович.

— Что имеется их экстраполятор, — продолжал Игорь Васильевич, — который...

— Или которая, — уточнил Сергей Иванович.

— Это Юрию Ильичу все равно, — сморщился в улыбке Игорь Васильевич, — вон он... как ловко... Не жарко было, не раздеваясь-то?

— Как жарко, — буркнул я, уже ничего не соображая, — иней на скамейке...

— Иней! — Игорь Васильевич захохотал. — Ну, что такому мужику иней, а? Ну, вы даете, Юрий Ильич...

— А экстраполятор с той стороны обязательно там должен быть, — Сергей Иванович стал проявлять странную для него самостоятельность и упорство, вовсе не поддержав фривольный разговор. — И вам надлежит войти с ним в контакт, не вызывая подозрений, ни в коем случае не пресекая его действий, а, наоборот, пообещать ему помочь, даже если его действия будут направлены на дальнейшую дестабилизацию...

— Ну, Сергей, это уж слишком для Юрия Ильича, — примирительно сказал Игорь Васильевич, увидев, наверное, что лицо мое изменилось. — Это уж слишком... Это уж наша работа, Сергей, ты ее на Юрия Ильича не перекладывай... Вы только не вспугните, Юрий Ильич, только не вспугните...

И я уже оказался стоящим у двери в номер. И, заглядывая мне в глаза и снова тряся обеими руками мою руку, Игорь Васильевич повторял:

— И никто, никогда, ни за что об этом не узнает, поверьте нам, это ж не в наших интересах, вы самый дальний экстраполятор, и талант большой, вам надо писать и писать, а если, допустим, мы вас обнаружим,

так нам же от руководства и нагорит, потому что теперь мы уж в одной обойме, Юрий Ильич, и вам надо только не вспугнуть, не вспугнуть, не вспугнуть.

Они оцепили дом в одну минуту. Все были в форме, в своей обычной форме, видимо, дело сегодня предстояло настолько рутинное, что нужды в штатской маскировке не было. Только командовали трое в хороших серых пальто и меховых шапках — они вылезли из последней бээмпэ и сразу стали в стороне.

Мы лежали на тонком снегу за кустами и, еще зажимая ей рот, я прошептал в ухо этой гадине:

— Крикнешь — либо сам тебя убью, либо они возьмут. Они свидетелей не любят. А мне уж тогда все равно. Поняла?

Она кивнула, насколько могла, стиснутая моей рукой. И я отпустил ее — рука уже окоченела, долго лежать так было невозможно. Едва слышно всхлипнув, она повернула ко мне лицо и даже не прошептала — только показала губами: «Прости, христа ради — прости! Не выдавай! Забудь!»

— Молчи, — шепнул я снова ей в ухо. — Лежи молча, не шевелись. Уедут — пойдешь дальше одна. Все.

Она кивнула и сразу же успокоилась — с невероятным интересом она смотрела теперь на то, что происходит возле дома. Я смотрел тоже, хотя то, что там делалось, уже давно не было ни для кого тайной.

Одно отделение вошло в дом. Все окна в доме уже горели — неяркий ночной свет пониженного, как всегда, напряжения казался на темной улице сиянием. Прошло примерно минут двадцать...

И вот дверь подъезда раскрылась, и показались они.

Мужчины были все, как один, в хороших серых пальто и меховых шапках, в руках они несли плоские чемоданчики. Женщины были в шубах и полушубках из

овчины. Дети и подростки шли в куртках, без шапок, в небрежно накинутых капюшонах.

Их было около сотни.

Они вышли из подъезда довольно тихо и так же тихо выстроились на мостовой в колонну по четыре — два солдата, слегка подталкивая их, справились с построением буквально за минуту. Последний из группы обнаружения, мгновенно вытащив из полевой сумки огромный висячий замок, запер двери и побежал к танку, над которым возвышалась радиоантенна, влез в него. Прошло еще две минуты, и во всех окнах дома погас свет — теперь навсегда.

Прыткий солдатик выскочил из танка уже с небольшой табличкой в руках, снова подбежал к подъезду и повесил ее на ручку двери поверх замка. Немедленно после этого один из тех, что командовали операцией и своей одеждой не отличались от выведенных из дома, прошел в голову колонны и негромко — но в ночном беззвучии было слышно каждое слово — сказал:

— По поручению Московского отделения Российского Союза Демократических Партий я, начальник третьего отдела первого направления Комиссии Народной Безопасности тайный советник Смирнов, объявляю вас, жильцов дома социальной несправедливости номер, — он взглянул в какую-то бумажку, — номер восемьдесят три по общему плану радикальной политической реконструкции, врагами радикальной реконструкции и в качестве таковых несуществующими. Закон о вашем сокращении утвержден на собрании неформальных борцов за реконструкцию Пресненской части.

Машины зарычали и двинулись по краям мостовой, один танк шел впереди, другой замыкающим. Колонна шла посередине...

Через десять минут на улице было пусто и тихо.

— Куда их? — спросила женщина. Она стояла в двух шагах от меня, пытаясь дрожащими руками счистить снег и грязь с кожаного пальто.

— Неужели не знаешь? — мне уже не хотелось даже делать вид корректного обращения с этой жлобской бабой, которая, видно, не слышала ни о чем, кроме обувного изобилия в столице. — Во МХАТ на Тверском, потом — туда... — стволом «калашникова» я показал на небо.

— А шо ж в том мхати? — с ужасом спросила она.

Никакого желания объяснять ей подробности у меня не было.

— Комиссия, — вяло пробормотал я, уже прикидывая, как быть дальше. Удивительно, что она может так спокойно, так уверенно в своей безопасности говорить с человеком, которого полчаса назад пыталась ограбить, может, и убить, крыла матом... Хотя удивляться не приходилось — по нынешним понятиям ничего особенного между нами не произошло, а прежние понятия из сознания этих людей исчезли настолько быстро, что можно предположить — эти понятия и прежде были им не слишком близки. Одно ясно — она не отвяжется от меня до самой площади, рассчитывая так или иначе выманить талоны. Воевать не было сил.

— Пошли, — сказал я, и мы двинулись дальше по Спиридоновке. Проходя мимо подъезда, я покосился на табличку. При свете луны крупные черные буквы на белом читались ясно. «Свободно от бюрократов. Заселение запрещено» — было написано на табличке. В темных окнах молочными отблесками отражались луна и снег. Ветер дул все сильнее, белые змеи ползли по мостовой все торопливее...

Мы свернули на Бронную. Я хотел снова выйти на Тверскую, потому что идти по закоулкам было еще опасней.

Но дойти до Тверской нам не удалось.

Справа, из подворотни, от бывшей библиотеки метнулись тени — и через секунду все было кончено.

У меня с шеи сорвали автомат, с треском разодрали ворот свитера.

— Крэст, — негромко сказал, дохнув мне в лицо запахом сырого мяса, тот, что разорвал свитер — в густой черной щетине, кривоносый. Ворот рубахи под его драной дубленой шубой был распахнут, из ворота лезла черная шерсть. Тот, что стоял сзади, уперев мне в поясницу ствол моего же автомата, уточнил:

— Григориан, а?

— Православный, — мгновенно сообразил я, — русской веры...

— А, ладно, православный, армян, какая разница! — раздраженно крикнул третий, занимавшийся тем временем чуть в стороне моей спутницей. Он запустил ей руку за пазуху, она ойкнула, а он, даже вздохнув, сообщил: — И у эта биляд крэст... Во двор веди.

Подталкивая стволом, меня впихнули в подворотню. Я обернулся и успел поймать несчастную охотницу за сапогами, которую обыскавший ее отправил к месту сильнейшим пинком в зад.

— Та ой же, — вскричала она почти без голоса, — та який же крест, я ж неверующая, то ж золото, для красоты...

И осеклась. Держа ее в вынужденных объятиях, я, видимо, от этих слов скроил такую рожу, что она испугалась меня больше, чем чернобородых.

Во дворе таких же, как мы — с распахнутыми, разорванными воротниками, с болтающимися и поблескивающими крестиками — было, наверное, около пятидесяти. Двор был довольно просторный, мы стояли не тесно, как бы стараясь не объединяться друг с другом. За эти годы я успел побывать по крайней мере в пяти облавах и заметил, что люди никогда не объединяются в окруженной стражей толпе — наоборот, каждый пытается сохранить свою отдельность, особенность, рассчитывая, видимо, и на исключительное решение судьбы. Спутница моя немедленно выпросталась из моих объятий и отошла метра на полтора.

С четырех сторон двор освещали фары стоящих но-

сами к толпе легковых машин. Какой-то человек влез на железный ящик помойки, взмахнул рукой, в которой был зажат длинный нож-штык, и негромко прокричал:

— Всем стоять смирна-а! Вы — заложники организации Революционный Ка-амитет фундаменталистов Северной Персии! Наши товарищи захвачены собаками из Святой самообороны. Если через час они не будут освобождены, вы будете зарезаны — здесь, в этом дворе. Кто будет кричать — будем резать сейчас!

В толпе раздался тихий стон, и я увидел, как женщина у дальней стены упала на землю — видимо, потеряла сознание. Человек слез с ящика и сгинул. Я сел на землю, многие вокруг тоже стали садиться. В суете эта баба, мое наказанье, оказалась рядом, примостила полы пальто, уселась, придвинулась...

— Прости... — услышал я спустя несколько минут и взглянул на нее. Она плакала, спрятав в руки лицо, и шептала, будто даже не обращаясь ко мне: — Прости, ради Бога прошу... Разве ж я вбила б тебе? Просто от нервов... Прости, я ж верующая, а этим чуркам от страха наврала... Прости, я ж тебе нравлюсь, разве нет?...

Столько наивной прямолинейности, столько детского убогого желания собственного блага было в ее бормотании. Мы сидели обнявшись, я начал дремать... Меня разбудил крик:

— Идут! Идут!!!

Я открыл глаза. Кричал, видимо, кто-то из заложников, крик шел с земли. В подворотню входили цепочкой люди — точно такие же, заросшие до глаз черными бородами, как те, кто нас захватил. Заложники вскакивали с земли, теснились к краю двора, к стенам.. И вдруг над двором поплыло пение. Это было негромкое, но мощное мужское восточное пение, унылый мотив поднимался все выше и выше... И навстречу вошедшим — я понял, что это и были освобожденные наконец пленные, — ото всех концов двора двинулись те, кто

их ждал, каждый подходил к какому-то из прибывших, обнимался и застывал надолго. А пение все росло...

Визг, прорезавший это пение, был страшен, но короток. Толпа заложников отхлынула из дальнего конца двора, и я увидел: двое стояли там, по-прежнему обнявшись, но уже глядя не друг на друга, а на третьего. Третий же, низко кланяясь, подавал им что-то, сначала мне показалось — какую-то кастрюлю...

Но это была не кастрюля, а большая меховая шапка, а в шапке отрубленной шеей вверх лежала человеческая голова.

Тело валялось чуть в стороне. Это была женщина. Рядом с телом лезвием в темной луже лежала обычная саперная лопатка на короткой ручке.

Тяжелый выдох — не крик, именно выдох — вознесся над толпой. И в наступившем за ним безмолвии заложники ринулись к подворотне. В центре прохода тут же возникли двое чернобородых, в руках у них были старинные, может, еще Первой Гражданской — где они их только выкопали! — шашки... Нас, стоявших ближе других к этому довольно широкому и низкому проему, толпа несла впереди.

Когда до убийц оставалось уже метра два, я рванул женщину за руку, и мы вместе упали плашмя. Люди пошли над нами, пытаясь свернуть — первые, следующие уже не пытались... Мы ползли, и за то время, что мы проползли этот метр, я успел заметить многое. Я увидел снизу, как один из встречавших толпу первым опустил клинок и, резко дернув им слева направо, рассек по животу почти пополам переднего в толпе, уже пятившегося, но подпираемого сзади толстого мужчину в коротком плаще... Я успел почувствовать, что ни на меня, ни на женщину люди почти не наступали: их движение уже не было столь общим, ровным стремлением к подворотне, они уже топтались на месте, разворачивались, и мы оказались в мертвой зоне, быстро пустевшей зоне между убивавшими и убиваемыми... Я успел

заметить, что правой рукой все еще намертво цепляюсь за рукав ее пальто... И я успел заметить самое главное: двое с шашками не смотрят вниз, они смотрят на толпу прямо перед собой, и тот, что уже зарезал одного, медленно встряхивает, встряхивает клинок, отбрасывая с него слишком медленно стекающую кровь, и ищет, ищет в толпе следующего, а второй еще не совсем готов и держит шашку — вверх острием, и стоит неустойчиво.

Прямо с земли — я привык за эти годы лежать на земле, ползти, бегать на четвереньках, — прямо с земли, как взбесившаяся ящерица, прыгнул я на этого нерешительного, обеими руками вцепился в его правое запястье, выкрутил... Оружие со звоном, разодрав на плече мою куртку, вывалилось и отлетело в сторону. А я уже что было сил ударил изумленного мальчишку — смуглого, едва заросшего бородой — коленом в пах и бросил его, обмякшего, на медленно поворачивающееся ко мне лезвие.

Женщина еще стояла на четвереньках, она еще только пыталась встать на ноги, толпа еще только качнулась, чтобы смять и затоптать тех двоих, и убийца еще только пытался сбросить своего неудачливого товарища с бесполезного клинка, и сзади, из глубины двора, прогремела еще только первая очередь в спины рвущихся к выходу людей. Это была очень замедленная жизнь, словно ночь состояла не из холодного ноябрьского воздуха, а из воды. И, как бывает под водой, сильно, неестественно плавно изогнувшись, я тянулся, тянулся — и дотянулся, схватил ее за шиворот, за крепкий кожаный ворот ее очень удобного сейчас пальто и потянул, рванул — и мы выплыли на улицу, и длинными, все еще подводными прыжками начали уходить вглубь, в переулок, к Палашевскому рынку...

— Кушать хочется, прямо невозможно, — сказала она. — Второй день не кушала, еще с поезда...

Мы сидели на полусгнившем прилавке пустого рынка, и тени диких собак носились кругами все ближе

и ближе. Больше всего я был огорчен потерей автомата: безоружный имел немного шансов дожить до утра на московских улицах.

— Погоди, узнаю время, — сказал я, — может, еще и поедим.

Из внутреннего кармана я достал транзистор. Удивительно — он был совершенно цел. Часов у меня не было уже давно, радио, как и для многих, определяло всю мою жизнь. Часы были изъяты Комиссией еще прошлым летом: слишком часто их использовали во взрывных устройствах... Я нажал кнопку.

«...выражает соболезнование родным и близким погибших, всем пострадавшим при аварии на Красноярской ГЭС. По предварительным данным, во время разрушения плотины погибло около двадцати трех тысяч человек, около восьми тысяч ранено, сотни тысяч остались без крова и продуктов питания в связи с затоплением Красноярской и значительной части прилегающих областей. Общий ущерб составляет, по предварительным подсчетам, около восьмидесяти миллиардов талонов. Ведется расследование. В ближайших выпусках новостей мы передадим очередные сообщения правительственной комиссии. Московское время — три часа тридцать семь минут. Слушайте концерт из произведений русской классической музыки. Первую симфонию Альфреда Шнитке исполняет...»

Я выключил приемник.

— Пошли, — я потянул ее, спрыгивая с прилавка. — Тут неподалеку, может, поедим.

Перед тем как позвонить в дверь, я отряхнулся, отряхнул и ее, потом, несмотря на все набирающий силу ветер, стащил и взял на руку куртку — в одежде, разрезанной шашкой, ходить в этот шикарный ночной кабак было не принято.

Открыл почему-то сам хозяин — высокий, худой, моложавый еврей в коротко стриженных седых кудрях, по последней моде одетый во все сшитое у лучших кре-

стовских портных. Фрак на нем сидел безупречно, короткие лакированные сапожки сняли.

— А-а, вольные дети муз реконструкции тоже посещают злачные места, — обрадовался он. Вроде обрадовался... Когда-то, в давно сгинувшей жизни, за много лет до катастрофы, мы работали вместе. — Ну, прошу, и даму... познакомишь бедного артельщика с дамой?.. как это — сам не знаком?! очень приятно, Валентин... прошу вас, Юлечка... а вы знаете, что ваш грубый спутник — гений?..

Он продолжал трепаться, как будто мы не знакомы четверть века, и будто не в полутемном зале ночного ресторана времен Великой Реконструкции мы встретились, и не стреляют за глухими ставнями неуемные автоматчики — будто сошлись мы в нашем старом доме на Никитском... Как он тогда назывался? Суворовский, кажется... И сейчас выпьем по рюмке коньяку, и платить буду, конечно, я, потому что у него, как всегда, ни копейки...

— Угощаю, угощаю, — шумел Валька, — пока ты не решился ко мне, в артель, я угощаю... а то давай. бросай свою бескорыстную борьбу за решительный возврат к светлому прошлому. Не надоело еще, за десять тысяч «горбатых»-то ежемесячно бороться?

Мы шли по залу, и я кивал знакомым. Поэт, за последние годы не написавший ни одной строчки и занимавшийся исключительно борьбой за признание поэтов штатными бойцами реконструкции с жалованьем в талонах... Угрюмая компания бывших проституток, полностью ушедших в артельное шитье после краха профессии в страшном девяносто втором, когда от эпидемии ЭЙДСа они все чуть не вымерли... Какой-то очумевший от сыплющихся с неба денег артельщик — он пировал в компании двух атлетов — личной охраны из каратистов в отставке... И многих из этих привидений я почему-то знал — иногда сам удивлялся, откуда у меня такие знакомые и зачем они мне...

— Я и сам с вами выпью, — сказал Валька. — Вы будете пить?

— У тебя же не подают, — удивился я. — Откуда?

— Ну, конечно, — расхохотался Валька, — а эти все кока-колу пьют, что ли? Так у них на нее денежек не хватит... Могу угостить отличнейшим напитком, одна хитрая артелька наладила из зеленого горошка венгерского... Лучше довоенной «Пшеничной», честно!

— А угловцев не боишься? — поинтересовался я.

— А угловцев бояться — трезвым капитализма дожидаться! — Валька по обыкновению повторял самые дешевые из расхожих шуточек. Между тем лакей уже принес на наш столик блюдо с американской пастеризованной ветчиной, французскими прессованными огурцами и положил возле каждого прибора по куску — огромному, граммов на сто! — настоящего хлеба... Посреди стола уже стоял графин с темно-зеленой жидкостью...

Тем временем на сцене музыканты разбирали инструменты. Черт его знает, как Вальке удалось получить разрешение на пользование мощной, берущей огромное количество энергии усилительной аппаратурой! Но ребята уже настраивались, динамики взревывали... И вот уже вышла певица, зацепила кринолином шнур, другой, наклонила микрофон...

— Вас приветствует рок-шантан «Веселый Валентин»!

И немедленно ударил сумасшедший вальс, зарычали гитары, и певица закричала, конечно же, самую модную этой зимой песню:

Я ждала тебя в семь,
Но часов нет совсем
Ни у тебя,
Ни у меня
— Нету часо-ов!
Но что-то тикает внутри,
На это что-то посмотри,
И ни тебе,

И ни мне
Не надо слов!

В зале уже подхватывали лихой припев:

Эй-эй, господин генерал?
Зачем ты часы у страны отобрал?
Шантан смеялся над властью...

Когда мы наконец подошли к Страстной, там стояло предрассветное затишье. Только в такие часы и бывало тихо на этом издавна самом буйном в городе месте. На площади копошились рабочие — глянув в их сторону, я понял, что за взрывы гремели здесь час назад: в очередной раз памятник Пушкину взрывали боевики из «Сталинского союза российской молодежи». И снова у них ничего не вышло: фигура была цела, только слетела с постамента да обвалились столбики, на которых были укреплены цепи. Рабочие уже зацепили поэта краном и втягивали на место, бетонщики ремонтировали столбики.

— А кто ж то заделал? — спросила Юля. Она, чем ближе к концу шла ночь, задавала все более простые и бесхитростные вопросы — видимо, даже для такой несложной нервной организации ночная прогулка по столице оказалась слишком серьезным испытанием.

— Твои верные сталинцы, — раздраженно ответил я. Все более дурные предчувствия мучили меня этой ночью, и возникала уверенность, что мои неприятности еще не кончились. — Твои сталинцы и патриоты...

— А за шо? — изумилась она. — Это ж Пушкин или кто?

— А за то, — уже в бешенстве рявкнул я, — что с государем-императором враждовал, над властью смеялся — раз, в семье аморалку развел — два, происхождение имел неславянское — три! Мало тебе? Им достаточно...

— А шо ж неславянское, — еще больше удивилась она, — он разве еврейчик был?

Я не нашелся, что ответить.

— В метро пошли, — сказал я. — А то на улице без оружия долго не проходим...

— А в метро том спокойнее? — спросила она. Видно, после всех переживаний она просто не могла замолчать. — Чего тогда с Брестского вокзала не ехал в метро?

— Ночью там тоже... не рай, — неохотно пояснил я. — Но все же... хотя бы с оружием не пускают... официально.

Мы уже шли по скользким, сбитым и покореженным ступеням эскалатора. Когда-то я терпеть не мог идти по эскалатору — когда он двигался сам.

Перрон был почти пуст, только вокруг колонн спали оборванцы — голодающие Ярославль и Владимир давно уже жили в столичном метро. Да несколько подростков сидели посреди зала кружком, передавая из рук в руки пузырек. Сладкий запах бензина поднимался над ними, один вдруг откинулся и, слегка стукнувшись затылком, застыл, уставившись открытыми глазами в грязный, заросший паутиной и рыжей копотью свод.

Поезда с двух сторон подошли почти одновременно — редкие ночные поезда. Один из них остановился, двери раскрылись, но никто не вышел — вагоны были пусты. Другой же, как раз тот, что был нам нужен, к Театральной, прошел станцию, почти не замедляя ход. Впрочем, он и так полз еле-еле, километров семь в час, и поэтому я успел хорошо рассмотреть, в чем дело.

В кабине рядом с машинистом стоял парень в мятой шляпе и круглых, непроницаемо-черных, как у слепого, очках. С полнейшим безразличием направив очки на проплывающую мимо станцию, парень, сильно уперев, так что натянулась кожа, держал у скулы машиниста пистолет. Длинные косы парня свисали вдоль его щек мертвыми серыми змеями.

В первом вагоне танцевали. Музыка была не слышна, и беззвучный танец был так страшен, что Юля взвизгнула, как щенок, и отвернулась, спрятала лицо...

Среди танцующих была девица, голая до пояса, но в старой милицейской фуражке на голове. Были два совсем молодых существа, крепко обнявшиеся и целующиеся взасос, у обоих росли редкие усы и бороды. Был парень, у которого гладко выбритая голова, окрашенная красным, поверх краски была оклеена редкими серебряными звездами. Он танцевал с девушкой, на которой и вовсе ничего не было, даже фуражки. На правой ее ягодице был удивительно умело вытатуирован портрет генерала Панаева, на левой — обнаженный мужской торс от груди до бедер, мужчина был готов к любви... Когда девушка двигалась, господин генерал совершал непотребный эротический акт. Заметив, что поезд проезжает освещенную станцию, девушка повернулась так, чтобы вся живая картина была точно против окна, и начала крутить задницей энергичнее... И еще там, конечно, танцевали люди в цепях, во фраках, в пятнистой боевой форме отвоевавших в Трансильвании десантников, в старых костюмах бюрократов восьмидесятых годов, в балетных пачках, даже в древних джинсах... Посередине танцевал немолодой человек в обычном, довольно модном, но явно фабричного отечественного производства фраке. Выражение лица его было — сама скука и уныние, но нетрудно было догадаться, почему его приняли в эту компанию: именно он держал на плече какой-то дорогой аппарат, беззвучно аккомпанировавший дьявольскому танцу.

Следующие два вагона были темны, там, видимо, спали. Только кое-где вспыхивали огни самокруток, да вдруг к темному окну приникла отвратительная рожа: разбитая, в кровоподтеках и ссадинах, с всклокоченными над низким и узким лбом желтыми слипшимися волосами... Рожа была, кажется, женская, но я бы не поручился. Через мгновение рожу обхватила сзади толстая голая рука и оттащила от окна... В этих вагонах собралось дно.

Наконец, последний, пятый, был светел, и не просто

светел, а освещен так ярко, как уже давно не освещалось ни одно обычное помещение в городе. В вагоне, посередине, стоял обычный домашний диван, на диване сидел обычный человек средних лет в свитере и мятых штанах, и, склонивши набок лысую голову, играл на обычной гитаре. Это был знаменитейший сочинитель, песни которого пела вся страна. В веселом поезде везли его, чтобы, остановившись где-нибудь в Дачном под утро, вытащить на перрон и заставить петь. Потом его угостят чем-нибудь из горошка или еще какой-нибудь гадостью. Великий неразборчив и в выпивке, и в знакомствах...

Поезд сгинул в туннеле. Следующий должен был прийти не раньше чем через полчаса. Ждать не было смысла — он мог быть еще страшнее, ночь выдалась беспокойная. Но и идти с голыми руками дальше не хотелось.

И тут меня осенило. Ведь оружие все равно понадобится...

Я растолкал одного из спящих у колонны. Это был тощий — даже более тощий, чем многие его земляки — старик, судя по выговору — из Вологды или откуда-нибудь оттуда, с севера.

— Чего надо-то? — спросил он, приподняв голову на минуту и снова кладя ее на руки, чтобы не тратить силы. Глаза он так и не раскрыл. Я присел рядом на корточки.

— Отец, — шепнул я, — слышь, отец, «калашникова» нет случайно? Лучше десантного... Может, от сына остался? Я бы пятьдесят талонов отдал сразу...

Старик раскрыл глаза, сел. Беззубый от пеллагры рот ощерился.

— Отец, говоришь? От сына? Да я ж сам тебе в сыновья гожусь, дядя!

Я увидел, что он говорит правду, этому человеку было не больше тридцати. Но и голодал он уже не меньше года.

— Калашника нет, — с сожалением сказал он. — Продал уже... А макарку не возьмешь? Хороший, еще из старых выпусков, я его по дембелю сам у старшины увел... Год назад... Под Унгенами стояли, тут объявляют — все ребята, домой, смена, я его и увел... Возьми, дядя! За тридцать талей отдам... четыре дня не ел, веришь...

Он уже рылся в лежавшем под головой мешке, тащил оттуда вытертую до блеска кожаную кобуру...

Я отсчитал деньги и, не вставая с корточек, чтобы не демонстрировать особенно покупку, надел кобуру на ремень под куртку, сунул в карман три обоймы. Потом встал — и поймал ее взгляд.

Юля смотрела на карман, откуда я доставал талоны.

И тогда я понял, что наше совместное путешествие должно кончиться немедленно, чтобы мы оба пока остались в живых.

— Ну, пошли, — сказал я. Она двинулась за мной, как загипнотизированная, ее «горбатые» жгли ее сердце, мои талоны не давали дышать.

Мы вышли из метро, и я сразу свернул за угол подземного перехода. Здесь было абсолютно пусто и почти темно, свет сюда шел только из дверей станции. Я вытащил пистолет, повернулся к ней и медленно поднял ствол на уровень ее темных, так и не узнанного мною цвета глаз.

— Иди, — сказал я, — иди от меня. Талонов от меня не получишь. Хлеб можно купить и на «горбатые», а без лишних сапог обойдешься. Иди. Хватит. Я боюсь тебя.

— А куда ж я пойду? — спросила она довольно спокойно. — Ночь же, бандиты кругом...

— До утра побудь в метро. Утром — сообразишь, — сказал я. — Иди. Иначе я выстрелю. Ты не даешь мне выбора.

Она кивнула.

Я стоял и смотрел ей вслед. Вот она толкнула ка-

чающуюся стеклянную дверь, вот начала спускаться по лестнице...

В это время над ухом у меня негромко сказали:

— Ну-с, как вам все это нравится?

Я отскочил, развернулся лицом, нащупал кобуру...

— Да бросьте, вы что, с ума сошли совсем, что ли? — мужчина в темном пальто и кепке-букле пожал плечами. Откуда его черт принес? Из перехода подошел, наверное... Но как тихо!

— Так нравится или не очень? — продолжал мужчина. Лицо его при свете, доходившем через стеклянные двери станции, показалось мне знакомым, кого я только не встречал за жизнь в этом городе... — Вот, радуйтесь, дождались! То, что вы все, вся наша паршивая интеллигенция, так ненавидели, рухнуло. Бесповоротно рухнуло, навсегда. Аномалия, умертвлявшая эту страну почти век, излечена, лечение было единственно возможным — хирургическое... Ну, и вы полагаете выжить после такой операции? Да и сама операция — хороша, а? Госпитальная хирургия: кровь, ошметки мяса, страх и никакого наркоза, заметьте... А результат? Генерал присматривает за страной-инвалидом...

— Если вам так уж полюбился ваш довольно убогий образ, то отвечу, — я привалился к облупленному кафелю стены перехода, достал табак, стал сворачивать. — Извольте: мы еще в реанимации. Еще рано делать прогноз. Осложнения — страшные. Может, и не выживем. Но операция была жизненно необходима — вам знакомо такое медицинское выражение? Или резать, или все равно помрете... Делают аппендэктомию, все хорошо, вдруг — тромб в сердце... Генерал — это тромб, но...

— Варварство и идиотизм, — презрительно скривился собеседник. И я вдруг понял, с кем имею дело. По выговору, по всей манере... Вот и встретились! Теперь я уже не смогу отрицать — эта старомодная привычка строить фразу, этот свободный жест, забытые в

стране слова... — Варварство и идиотизм, — повторил он. — Как и собственно отечественная медицина. Все на уровне каменного века. Или резать, или смерть... А разве лучше умереть зарезанным, чем естественно? По-моему, вам еще час назад представлялась возможность лечь под нож, но вы постарались ее избежать...

— И вы?.. — удивился я.

— Едва ноги унес, — вздохнул он. И засмеялся мягким дворянским смешком. — А вы, надобно признать, весьма тут поднаторели выходить из отчаянных ситуаций. Подучились! М-да... Вот вам и еще один светлый праздник освобождения. Погромы, истребительные отряды, голод и общий ужас... Потом, естественно, разруха, потом железной рукой восстановление... Бывших партийных функционеров уже по ночам увозит Комиссия. Все ради будущего светлого царства любви и, главное, — справедливости. Но... Время будет идти... Через десять лет, если доживете, будете отвечать на вопрос: чем занимались до девяносто второго года? А не служили в советских учреждениях? А не состояли в партии или приравненных к ней организациях? Не ответите — сосед поможет... И поедут оставшиеся в живых верные бойцы реконструкции куда-нибудь в Антарктиду... Лед топить.

— Но ведь нужна же была, черт бы все побрал, операция! — заорал я и закашлялся дымом. — Ведь... доходили же... стыдно было...

— Не орите. Сталинцев накличете или «витязей» черноподдевочных, — холодно посоветовал собеседник. — И что это за дрянь вы курите? Угощайтесь... — он протянул пачку «галуаз». — Угощайтесь, угощайтесь, у меня пока еще есть... Да-с, ничего вы, значит, так и не поняли... Да не нужна социальная хирургия, зарубите вы это на своем общероссийском носу картошкой! Черт вас раздери, любезные соплеменники... Вы когда-нибудь научитесь терапии-то европейской? Почему там бастуют веками — и ничего, а у нас день бастуют, на

второй — друг другу головы отрывают? Почему там демонстрации, а у нас побоища? Почему там парламентская борьба, а у нас «воронки» по ночам ездят? А вам, смутьянам книжным, все мало, все мало! Подстрекаете, подталкиваете... Ату его, он сталинист! Гоните его, он консерватор! Ну, прогнали консерваторов, а они-то — кон-сер-ва-торы! То есть хотели, чтобы оставалось все, как было, чтобы хуже не стало... Дождались операции? Ну, теперь крови не удивляйтесь, особенно своей. Живой-то орган кровоточит сильнее...

Злым щелчком он выбросил свой окурок, помолчал... Я докуривал сигарету тоже молча, забытый восхитительный вкус настоящего табака сбивал мысли.

— Ладно, — вздохнул он, — что теперь говорить... Да вы ведь и согласны со мною, я же вижу. Так что, если захотите изменить свою жизнь — милости прошу. Помогу, чем сумею. Найти меня несложно... — небрежным движением он сунул в карман моей куртки твердый бумажный прямоугольник. — Здесь и телефон, и адрес. На всякий случай по телефону себя не называйте, просто попросите, кто подойдет, о встрече в известном месте. Это значит — я буду вас ждать здесь же, в первую после звонка ночь, вот в такое же время... Засим — желаю здравствовать.

Он повернулся и пошел к дальней лестнице перехода. Из-под пальто его были видны вечерние брюки с атласными лампасами и лакированные туфли, вовсе неуместные ночью в районе Страстной.

— Тут вы, конечно, немножко перегнули, Юрий Ильич, — сказал Игорь Васильевич, и, как обычно, засмеялся. — Женщину под пистолетом гнать не стоило. Тем более, и пистолет-то... купленный. А вы знаете, у кого, кстати, вы его купили?

— Дезертир, — сказал строгий Сергей Иванович. — Совершенно точно, дезертир и, как он же сам признался,

расхититель военного имущества. Зря вы рисковали, Юрий Ильич, зря...

— Мы вас, если что, конечно, в обиду не дадим, позвоним или подъедем, если нужно, — сказал Игорь Васильевич. — Но другому бы пришлось отвечать...

— Вот и не нужно за меня заступаться, — упрямо сказал я и придавил сигарету в пепельнице. На этот раз мы сидели уже не в гостиничном номере, а в какой-то квартире в одном из старых, недавно вышедших из-под капитального ремонта домов на Садовой. Квартира была полупустая, только большой холодильник шумел в прихожей, да в углу большой комнаты стояли два казенных кресла, низкий столик и диван с одним отломанным валиком. Окна были завешены желтыми газетами, сквозь газеты лупило солнце... Но пепельница на столике, естественно, имелась. — Нет уж, не надо меня защищать, прошу вас...

— Да как хотите, Юрий Ильич, — воскликнул Игорь Васильевич, — как хотите, мы ж понимаем, что вы человек самостоятельный, независимый, смелый, талантливый, гордый, неподкупный...

— И вообще, — закончил Сергей Иванович, который от раза к разу становился все строже и строже, все важнее и важнее, покрикивал и на Игоря Васильевича, и на меня. — Но теперь вопрос другой: ну, прогнали вы эту... даму. И дальше что? Почему же вы дальше не написали, а, Юрий Ильич?

— Что вы имеете в виду? — спросил я, чтобы как-то потянуть время, чтобы, может, снова свести разговор к невнятице, к неконкретной лояльности. — Вообще-то, больше и не было ничего... Ну, прохожие разные... бандиты...

— Нет, Юрий Ильич, — тут посерьезнел и Игорь Васильевич, — с бандитами все уже ясно. Вы нам напрасно не доверяете, Юрий Ильич. Времена теперь не те, мы ж вам сесть вот предлагаем, а вы... Мы сейчас в трудном положении, Юрий Ильич, а вы не верите.

Пока с нами говорите — верите, а потом, как уйдете — так вас кто-то и настроит против нас. Может, жена?

— Почему жена? — я чувствовал себя все увереннее по мере того как нарастал их напор. — Вот вы говорите, времена не те. А если снова будут те?..

— Что ж вы думаете, Юрий Ильич, мы тогда здесь дыбу поставим, что ли? — обиделся Сергей Иванович. — Разве можно так рассуждать? Вы же нас, лично нас перед собой видите? Похоже, что мы на такое способны?

— Ну, лично вы, может, и не способны, — замялся я, — но редакция в целом...

— И никто в редакции, уверяю вас! — взвился Игорь Васильевич. — Это все у вас старые стереотипы, как теперь говорят, образ друга... то есть врага... А у нас теперь все кадры сменились, народ грамотный, вон Сергей даже три института кончил, правильно, Сергей?

— Ну, — сказал Сергей Иванович. — А раньше у нас даже подполковники не все читать умели. Вот Игорь Васильевич лично помнит одного, он даже «расстрел» через одно «эс» писал, представляете?

— Представляю, — сказал я, и мы все втроем засмеялись. Хорошо так засмеялись, понимая друг друга...

— Вот я и говорю, — сквозь смех произнес Игорь Васильевич, — если у вас адресок и телефон этого... ну, который вам предложил это... если остались, вы поделитесь, вам же и легче будет...

— Это ж ведь он и есть, — сокрушенно вздохнул Сергей Иванович, — экстраполятор ихний. Причем тесно связанный с ихними пресловутыми редакциями. С нашими, извиняюсь, коллегами по ту сторону исторических баррикад. Он только числится экстраполятором, а на самом деле имеет звание старшего редактора. Его уже один раз выдворяли даже.

— Действительно, — я ляпнул и остановился. — Действительно...

— Что действительно? — Сергей Иванович быстро встал с дивана, на уголке которого он, по обычаю,

устроился, подошел ко мне вплотную, нагнулся — почти лицом к лицу. Пацан этот быстро повзрослел. Губы у него уже были не такие пухлые, а толстые щеки стали обвисать, он был все так же важен, но уже совсем не смешон. — Что действительно? Говорите!

— Я его вроде и раньше видел... — мямлил я. — Довольно известный экстраполятор... Представляет здесь какой-то их институт. Не помню...

— А мы помним! — Игорь Васильевич тоже склонился ко мне, два эти лица теперь были так близко к моему, что черты их даже искажались. — Помним: Николай Михайлович Лажечников, потомок эмигрантов, Николас Лаже, представитель института экстраполяции Европейского Сообщества, на самом деле — старший редактор одной из редакций! Адрес, телефон! Быстрее, Юрий Ильич!

— Я потерял, — пробормотал я.—Выронил из куртки...

И тут же атмосфера в комнате снова стала очаровательно дружеской.

— Ну, это совсем другое дело! — опять весь сморщился в сплошную улыбку Игорь Васильевич. — Так бы и сказали! Что вы, ей-Богу, Юрий Ильич? Это ж полностью меняет дело... Потерять каждый может.

— Вот я, например, однажды шесть томов совершенно секретного дела потерял, — засмеялся и Сергей Иванович, — когда еще молодым был...

— Точно! — хлопнул себя по колену Игорь Васильевич. Ровно восемнадцать лет назад, когда его только из полковников в стажеры перевели, точно, Сергей?

— Так точно, — подтвердил Сергей Иванович. — Потерял — и ничего. Потерять любой может...

— Из полковников — в стажеры, — повторил я. Ум у меня вовсе заходил за разум.

— Ага, — кивнул Сергей Иванович, — у меня тогда еще только четыре класса было, я вечернюю начальную заканчивал... Ну, полковник, сами понимаете: корову через «ять» писал, одно дело знал — иголки да

ногти... А уж потом в один институт поступил, во второй, и пошло... Уже восемнадцатый год стажером. А что? Почему вы этим заинтересовались?

— Я по-онял, — хитро протянул Игорь Васильевич. — Юрия Ильича мое звание интересует, правильно? Так я вам скажу: майор я. В восьмой класс перешел только что, с отличием... Еще вопросы, как говорится, будут?

— Никак нет, — ответил я. — Все ясно. А вы, Сергей Иванович, значит...

— Как двадцать пять лет отслужу, — кивнул Сергей Иванович, — так всех моих институтов как не бывало. Получу снова первое офицерское звание — и в вечернюю. Арифметика, география, то-се...

— Вот так, Юрий Ильич, — заключил Игорь Васильевич. — Обновляем помаленьку кадры. А вы думали — у нас не меняется ничего... Ну, я вижу — вы спешите. Так что пожелаю... А найдете адресок или там телефончик — звоните, ладно?

— Непременно позвоню, — пообещал я, решительно направляясь к двери.

— Или мы позвоним, — сказал Сергей Иванович. Оба они шли вместе со мной, чтобы еще раз пожать мне руку. Мы нежно простились, и я вышел, тихонько притворив за собою дверь. Перед этим я оглянулся. Они стояли рядом и смотрели мне вслед. Выглядели они сегодня внушительно: оба были в форме, с ромбами в петлицах и наградами, в новеньких ремнях и хорошо начищенных сапогах...

Над Садовой желтой гарью светилось небо, жара туманила перспективу, и бешено спешащие машины кучей заворачивали на Маяковку, стараясь прорваться на Брестскую, пока пешеходам не дали зеленый.

Жена была дома, она сидела на кухне, перед нею лежал английский роман и стоял стакан чаю с молоком.

— Идем, — сказал я. — Собирайся. У нас уже нет и не будет времени.

Мы вышли на Страстную. Холод перед рассветом был лютый, я снова чертыхнулся: несмотря на мои настояния, жена оделась слишком легко. Брюки она надела старые! Вот порвутся здесь на третий день, что будем делать тогда?.. Но объяснить ей это было невозможно.

— Давай подойдем... — она показала туда, где у края площади уже собиралась небольшая толпа. Там вывешивали сегодняшние «Ведомости». Времени у нас уже оставалось немного, но на минуту подойти мы могли. Однако протиснуться к газете не удавалось. Стоящие сзади переговаривались:

— Что там сегодня?

— Вроде ничего интересного... Только, говорят, «Тайная биография генерала» сильная...

— Так и называется? Ну, они дают...

— Подумаешь, называется... Они там пишут, что он в партии состоял! Раскопали... Вроде только в девяностом вышел... Даже в райкоме каком-то работал.

— Не может быть. Кто б им позволил такое писать... А еще что?

— Отрывок из старой какой-то рукописи. Не то в восемьдесят восьмом написано, не то в шестьдесят восьмом... А говорят, сильно написано, как будто вчера, про нас... «Невозвращенец» называется, что ли...

— А написал кто?

— Не помню...

Пробиться к газете я так и не смог. Да мне и не очень хотелось: я точно знал, о каком отрывке речь.

— Ну, наслушалась? — я взял жену под руку. — Пошли, пошли, нечего здесь больше делать.

Мы прошли к Тверской метров десять, когда я понял, что и на этот раз я ухватил удачу за самый последний, ускользающий поручень. Позади раздался шум, мы обернулись...

Толпа у газетного стенда даже не успела дрогнуть. Со стороны Большой Дмитровки раздался частый топот — и в мгновение все читающие оказались окружены

плотным кольцом набежавших «витязей» в черных поддевках. В руках у каждого был аккуратно выструганный, светящийся в темноте свежим деревом кол. Кольцо стало сжиматься, как бы выдавливая из себя время от времени редких удачников, раздались негромкие приговоры:

— Жид... жид... жид... так, крещеный, необрезанный, выходи... жид... опять жидовка... русская? «Слово о полку» читай. Сколько знаешь... так, врешь, мало помнишь, стой... жид, жид, жид...

Мы свернули на Тверскую.

В это время где-то вдалеке, в стороне Рогожской и Владимирки раздался звук, рванулся вверх — и тут же распался на эхо, несущееся со всех сторон.

Жена остановилась, в ужасе оглядываясь, поднимая голову к серым облакам на светло-лиловом небе.

— Что это? — спросила она. — Воздушная тревога? Зачем же мы сюда бежали, здесь хуже...

— Просто ты уже забыла, — я крепко прижал ее руку, ей трудно было привыкать. — Это обычные заводские гудки. Видишь, короткие? Значит, сегодня стачка продолжается, и за Москву-реку не пройдешь — на мостах танки...

Было уже почти светло. По середине улицы ехали тяжелые грузовики под брезентом, в них сидели пятнистые солдаты. Вся колонна постепенно втягивалась, сворачивая, в Чернышевский переулок.

— Куда это их? — жена оглянулась.

— На молебен, наверное, к Воскресению на Успенском, — я не вдавался в подробности, постепенно сама освоится. — Перед отправкой в Трансильванию, думаю... Как положено: полковой молебен за победу православного оружия... идем, идем, надо спешить.

Мы подошли к площади ровно в половине восьмого, в проезд между музеями уже почти невозможно было втиснуться. Отсюда толпа, заполнявшая площадь, казалась сплошной и аморфной, но я знал, что сверху —

если бы можно было взглянуть хотя бы с одной из башен или с собора — стали бы видны кольца и извивы этой очереди, плотно слипшиеся зигзаги, ограниченные с одной стороны длинным серым телом Центральных Рядов с давно провалившейся стеклянной крышей, а с другой — деревянным забором, ограждающим большой котлован у стены Кремля и множество мелких ям, оставшихся от выкорчеванных памятников и могил...

Вместе с боем курантов толпа шарахнулась и отступила, мы едва успели отскочить, чтобы нас не смяли. Теперь мы снова оказались на Манежной. Я знал, что сейчас происходит: это со стороны Маросейки, от памятника героям Плевны, свернув снизу, от Старой, несется кортеж.

Вот они влетели на площадь — семеро всадников клином на одинаковых белых конях, в форменных белых полушубках, а следом — одинокий танк в белой же, зимней окраске, с ворочающейся вправо-влево, на толпу, башней. Вот засвистела охрана у Спасских ворот — и все, проехали, скрылись... Рабочий день господина генерала начался.

— Это правда, что его сопровождают всадники? — спросила жена. — Почему?

— Горючего нет, — ответил я. Про всадников она уже успела услышать от кого-то... — Тише... Сейчас объявят.

Над площадью раздался мощный радиоголос:

— К сведению господ ожидающих! Сегодня в Центральных Рядах поступают в выдачу: мясо яка по семьдесят талонов за килограмм, по четыреста граммов на получающего, крупа саго по двенадцать талонов за килограмм, по килограмму на получающего, хлеб общегражданский по десять талонов за килограмм, производства Общего Рынка — по килограмму, сапоги женские зимние по шестьсот талонов, производство США — всего четыреста пар. Господа, соблюдайте очередь! Участники событий девяносто второго года и бойцы реконструкции первой степени имеют право на получение

всех товаров, за исключением сапог, вне очереди. Господа, соблюдайте очередь!..

— Идем, — жена дергала меня за руку. — Идем, ты же знаешь, я боюсь толпы. Как-нибудь проживем?

— Проживем, — согласился я, и она удивилась, что я не стал спорить, даже засмеялся.

Мы пошли домой — пошли вверх по Тверской, свернули на Неглинную, потом в Петровские линии... Ветер утих, тонкий снег под первым же утренним солнцем быстро таял, заливая разбитый асфальт неглубокой водой. Мы шли вон от площади, к которой я добирался всю ночь, и добрался живым только чудом. Но жена не знала этого — она ведь шла только от Страстной...

Обгоняя нас и навстречу шли люди, среди них все больше попадалось в одинаковых телогрейках защитного цвета. Это были беглецы из Замоскворечья, из Вешняков и Измайлова, из рабочих районов, где уже вовсю орудовали «отряды контроля» — боевики Партии Социалистического Распределения. Там отбирали все до рубашки и выдавали защитную форму. Там у проходных бастующих второй месяц заводов варили в походных кухнях и разливали бесплатный борщ. И иногда с котелком в руках в очереди появлялся сам Седых — могущественный глава Партии, легендарный рабочий лидер...

— Проживем, — сказал я, сунул руку в карман куртки и вытащил твердый бумажный прямоугольничек. Телефон, адрес... «...Если захотите изменить свою жизнь — милости прошу...» С трудом перегибая толстую бумагу, я мелко изорвал карточку и швырнул обрывки на водосток. Половина из них тут же унеслась в решетку вместе с талой грязью, остальные поплыли вдоль тротуара...

— Смотри,—сказала жена,—какая странная машина.

Я поднял глаза. От дальнего перекрестка нам навстречу медленно ехали разбитые «Жигули», правого крыла у них не было совсем, левое было смято, по пе-

реднему стеклу разошлась густая сетка трещин. За рулем, как всегда щерясь, сидел Игорь Васильевич. Сергей Иванович, сидящий на втором переднем месте, высунулся в боковое окно и укоряюще грозил мне пальцем. В руке он держал сильно ободранный никелированный «тэтэ», поэтому грозить пальцем ему было неудобно, приходилось снимать этот довольно пухлый указательный палец со спуска, сильно выставлять его в сторону и качать всей кистью с большим тяжелым пистолетом.

Я покосился на жену. Близоруко щурясь, она присматривалась к едущим навстречу. Волосы из-под вязаной шапки выбились, очки слезли почти на самый кончик носа, неистребимый румянец пылал на щеках... И здесь у нее был всегдашний вид посторонней. На месте она была бы, конечно, только там, куда звал нас ночной барин... Там пьют чай с молоком, читают семейные романы и не признают открытых страстей. Скучно, но достойно. Что ж, телефон я вспомню, если понадобится...

— Это твои знакомые? — спросила она. — Кто это? Из «Вестника»? А что это у него в руках? Ну что ты молчишь? С тобой невозможно разговаривать...

— Знакомые, — сказал я. — Но здесь я их почему-то совсем не боюсь... Здесь все будет нормально. Главное —что мы уже не там.

«Жигули» подъехали совсем близко, Сергей Иванович стал опускать руку. Я втолкнул жену в нишу, мимо которой мы как раз проходили. Когда-то здесь, наверное, стояла каменная ваза, теперь ниша пригодилась для человека.

Я толкнул ее — и рухнул на землю, уже расстегнув кобуру под курткой, уже готовый. Здесь я их совсем не боялся. Здесь я привык, и в случае опасности успевал лечь и прижаться к земле.

Май, 1988

Курчаткин А. Н.

К 93 Записки экстремиста; Кабаков А. А. Невозвращенец. — М.: Мол. гвардия, 1990. — 160 с.

ISBN 5-235-01535-5

В книгу аходят дае остросоцнальные поаести-антиутопии.

К $\frac{4702010201-292}{078(02)-90}$ КБ-019-048-90 **ББК 84Р7**

ИБ № 7151

Курчатиин Аиатолий Николаевич
ЗАПИСКИ ЭКСТРЕМИСТА
Кабаиов Алеисаидр Абрамович
НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

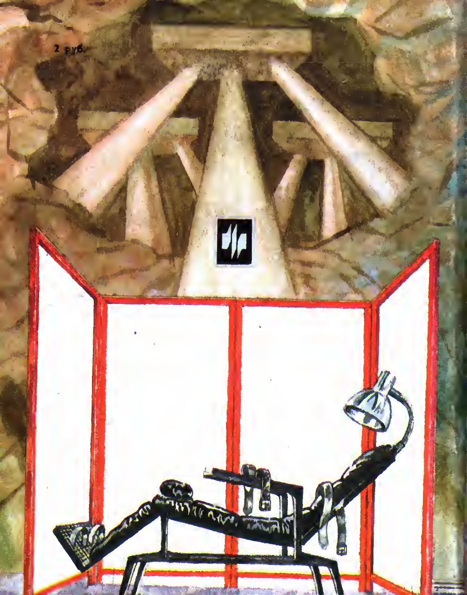
Заведующий реданцией В. Володченно. Редактор М. Катаеаа. Художнин Е. Суматохин. Художественый редактор К. Фадии. Техиический редактор Н. Носоаа. Корректоры М. Пензяноаа, Т. Песноаа

Сдаио а иабор 25.04.90. Подписаио а печать с матриц 19.11.90. Формат $70\times108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Лнтературная». Печать аысоная. Усл. печ. л. 7,0. Усл. кр.-отт. 7,52. Учетно-изд. л. 7,4. Тираж 100 000 экз. Цеиа 2 руб.
Изд. № 1112. Заназ 0-603

Набраио н сматрицироааио а типографии ордеиа Трудоаого Красиого Знамеии издательсно-полнграфнческого объедииеиия ЦК ВЛКСМ «Молодая гаардия». Адрес ИПО: 103030, Моснаа, Сущеаская, 21.

Отпечатано иа полиграфкомбииате ЦК ЛКСМ Унраииы «Молодь» ордеиа Трудоаого Красиого Знамени издательско-полиграфического объедииеиня ЦК ВЛКСМ «Молодая гаардия»: 252119, Киеа-119, Пархомеико, 38—44.

ISBN 5-235-01535-5


2 руб.